

# История

1989

---

5

# Даугава

1989

МАЙ (143)

5

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ  
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ЛАТВИЙСКОЙ ССР.  
ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1977 ГОДА

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ЛАТВИИ. РИГА

## В НОМЕРЕ:

### Проза и поэзия

Евгения ГИНЗБУРГ. Крутой маршрут. Хроника вре- мен культа личности. Продолжение . . . . .	3
Арид СКАЛБЕ. Эта наивная вера. Стихи . . . . .	43
Нэпаля БАБИЦКАЯ. Комната. Стихи . . . . .	47
Мартиньш КАЛНДРУВА. Ниске. Рассказ . . . . .	50
Анатол ИМЕРМАНИС. Кафе художников . . . . .	58

### Страницы народной поэзии

Дайны. Перевел Давид Самойлов . . . . .	60
---	----

### Публицистика

Иосиф КОРЕНБЛАТ. Король был гол . . . . .	62
---	----

### Культурология

Вадим РУДНЕВ. Бертран Рассел и его «История за- падной философии» . . . . .	70
Бертран РАССЕЛ. Карл Маркс . . . . .	73
(см. на обороте)	

## **В Н О М Е Р Е (окончание):**

### **Memoria**

**Иван БУНИН. Окаянные дни . . . . . 80**

### **Обзоры, размышления, рецензии**

**Артур ПРИЕДИТИС. Накануне радикальных перемен . . . . . 100**  
**Ирина САВКИНА. Хроника одной конторы . . . . . 105**  
**Алексей ШТЕЙНБЕРГ. «Дым отечества» дилектора Колидорова. . . . . 107**  
**Юрий АБЫЗОВ. Взгляд издалека . . . . . 110**  
**Картотека Юрасова . . . . . 114**

### **Искусство**

**Вадим РУДНЕВ. Заметки о новом искусстве II. «Третья модернизация» . . . . . 120**  
**Роман ТИМЕНЧИК. К нашим иллюстрациям . . . 125**  
  
**Почта «Даугавы» . . . . . 127**

---

**Рукописи не рецензируются и не возвращаются**

---

Главный редактор  
Владлен ДОЗОРЦЕВ

### **Редакционная коллегия**

Юрий АБЫЗОВ, Виктор АВОТИНЬШ (отв. секретарь), Людмила АЗАРОВА, Астрида АЛЬКЕ, Улдис БЕРЗИНЬШ, Николай ГУДАНЕЦ, Юрис ДИМИТЕРС, Вика ДОРОШЕНКО, Вячеслав ИВАНОВ, Марина КОСТЕНЕЦКАЯ, Петр КРУПНИКОВ, Григорий НИКИФОРОВИЧ, Янис ПЕТЕРС, Кнут СКУЕНИЕКС, Ян СТРАДИНЬ, Янис СТРЕЙЧ, Роман ТИМЕНЧИК, Леонид ЧЕРЕВИЧНИК (зам. отдела), Адольф ШАПИРО, Андрис ЯКУБАН (зам. главного редактора).

### **Редакция**

Сергей КОЛЬЦОВ, Илан ПОЛОЦК, Вадим РУДНЕВ

---

# КРУТОЙ МАРШРУТ

Хроника времен культа личности



Глава одиннадцатая

## ПОСЛЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

Улеглось первое радостное возбуждение после неожиданного освобождения из тюрьмы. Наступила реакция. Я просыпалась по утрам бледная, с отеками веками, с головной болью. И опять, опять с сознанием обреченности.

Из-за окна навстречу мне поднимался декабрьский колымский рассвет. От него нельзя было спрятаться. Надо было выходить на улицу, вступать в соприкосновение с людьми, узнавать новости.

Новости отличались однообразием. Строгий алфавитный порядок не нарушался. Каждый день брали новую пачку повторников. Оставалось только удивляться, как им удается затолкать столько человек в ограниченное пространство дома Васькова. Наверно, лежат уже и под нарами. С каждым днем алфавит все ближе подходил к Юлиной букве К. По вечерам, перед сном, Юля давала инструкции.

— Если сегодня возьмут, то имей в виду: мои меховые варежки в починке. Заберешь из мастерской и принесешь. Хлеба не носи, пайки хватит. Но сахар — обязательно. Без сахара я совсем дурую . . .

И я уже не отвечала теперь: «Не говори глупостей», а лаконично соглашалась: «Хорошо, принесу».

Первое время после моего выхода всех очень поддерживало мое достоверное сообщение о том, что речь идет только о поселении, что лагерных сроков никому не дадут. Но потом радужные мечты о «Красной репе» стали как-то линять перед реальной перспективой дома Васькова, да еще неизвестно на какой срок.

Васька ходил мрачнее тучи. Оставалось полгода до окончания средней школы, а он вдруг зарос тройками. На мою попытку завести об этом разговор — огрызнулся:

— ЭМГЕБЕ, что ли, о моих отметках тревожится?

Отвечать было нечего. Действительно, эмгебе вошло в нашу повседневную жизнь. Прежнего, доарестного, надзора можно было не замечать, он был секретным. Теперь за мной надзирали гласно, и тень Белого

дома лежала на нашем карточном домике, на нашем углу семейном счастье. За первую неделю после выхода из тюрьмы я ходила туда уже трижды. Первый раз — давать подписку о невыезде. Второй и третий — жаловаться на отдел кадров, не желающий восстанавливать меня на работе. А потом они просто приказали мне являться к ним два раза в неделю, пока не придет из Москвы решение по моему новому «делу».

По звонку «оттуда» меня восстановили на работе. Я снова играла на пианино, но то и дело ловила на себе жалостливые взгляды сослуживцев, слышала обрывки разговоров о том, что заведующая ищет нового музыкального работника. Она стала очень неохотно отпускать со мной Тоню.

— Чем больше привыкнет, тем больше будет отвыкать.

Антону тоже не удавалось теперь приходиться каждый вечер, потому что режим в лагере усилился в связи с приближением исторической даты — семидесятилетия Вдохновителя и Организатора всех наших побед, Великого Языковеда и Лучшего Друга советских физкультурников — Генералиссимуса Сталина.

Юля требовала, чтобы радио было всегда включено. У нее была теория: «Надо все слышать». И наш репродуктор надрывался с утра до ночи, извергая на нас потоки холуйского вдохновения по поводу тезоименитства Вождя. Семидесятилетие праздновали чуть ли не неделю подряд. Вакханалия восторгов и изъяснений в любви и преданности длилась часами. Каждый народ шаманствовал по-своему. Азиаты били в тамбуры и цокали языками. Сибиряки истошными голосами вопили насчет просторов родины чудесной, на которых они, дескать, сложили радостную песню о великом друге и вожде. Рязанцы и воронежцы отбивали в честь Генералиссимуса какую-то особенно дробную четку, прерывая гармонику лихими взвизгами. Потом транслировалось народное гулянье на Красной площади, громовые оркестры и хоры. Все это шло крещендо, и не видно было этому крещендо предела.

Сейчас это кажется уже почти невероятным. Уж не приснились ли нам тогда эти шаманские свистопляски, под которые уходил с исторической сцены недоброй памяти год сорок девятый? Увы! Точность памяти подтверждалась всякий раз, когда еще совсем недавно мы случайно набрали в эфире на пронзительные дискантовые пекинские голоса, захлебывающиеся в превосходных степенях, бьющиеся в конвульсиях любви к самому-рассамому Великому Кормчому.

... Двадцать пятого декабря сорок девятого года умерла моя мама. Мой второй арест оказался той самой последней каплей, для которой уже не нашлось места в чаше. Как она металась, бедная, узнав из Васиного письма, что он остался снова без меня! Как пыталась оттуда, издали, защитить, помочь! То посылала полужнакомым людям телеграммы, начинавшиеся со слова «Умоляю», то отаживалась, — сухонькая, почти семидесятилетняя, в драповом своем пальтишке с отделкой из тесьмы, — переступать порог грозного министерства, доказывая упитанным, отлично выбритым дежурным, что по всем законам мать имеет право хотя бы узнать, жива ли ее дочь и где она находится, если жива.

К счастью, она еще успела получить мое письмо о выходе из дома Васькова. И я тоже успела получить последнюю ее весть — тетрадный листочек в косую линейку. Крупно уже писала моя мама. Крупно и неровно. Жаловалась на левый глаз. Почти ничего не видит. Но правым она видела мой почерк, понимала, что я еще раз вышла живая, и потому писала: «Какое счастье!» За неделю до смерти так писала.

Она была совсем рядовой, никем не описанной матерью. Матерью заключенной. Свой безмолвный, неосознанный подвиг она совершала уже под старость, уже во вдовьи, бездомные свои годы. Не останавлива-

ли ее ни болезни, ни возраст, ни хроническое недоедание. Не было для нее в нашем фантастическом царстве Змея Горыныча недосыгаемых земель. Долгих тринадцать лет, день за днем, она отыскивала меня всюду, куда бы меня ни забросили. Если бы издать ее письма за эти тринадцать лет, получился бы человеческий документ разящей силы. Но письма отбирали при обысках, этапах, при втором аресте.

Не осталось писем. Остались только две фотографии. На одной — темноглазая задумчивая гимназистка тысяча девятьсот второго года. Эта гимназистка потихоньку читала не вполне понятную, но заманчивую своей запретностью «Критику Готской программы». На другой фотографии — скорбная старуха. Она досконально изучила правила переписки с заключенными, тоже не очень-то понятные. Она то и дело вступала в юридическое единоборство с Великим Душегубом, в чистоте своей искренно поражаясь тому, что он не хочет соблюдать даже собственные, им же созданные правила. В бесчисленных заявлениях она писала: «На основании пункта такого-то постановления такого-то, прошу предоставить мне разрешение на . . .»

Телеграмму о маминой смерти принесли двадцать шестого декабря. Репродуктор все еще надрывался в конвульсиях юбилейного ликования. Кто-то надсадно вопил «Да здравствует!», перекрывая голосом сводные оркестры. Да, он дожил до своего семидесятилетия. А она вот не дожила . . .

. . . Удар за ударом. Пришло постановление Особого совещания МГБ по моему новому «делу». Я была приговорена к вечному поселению в пределах Восточной Сибири.

Убийственным для меня, для всех нас, был, понятно, не самый факт пожизненной ссылки. Она, наоборот, была меньшим злом, сравнительно с призраком нового лагерного срока. Убивал адрес — Восточная Сибирь. Он означал полное крушение нашего карточного домика. Меня увезут, а Антон будет досиживать на Колыме в лагере свои оставшиеся четыре года. Потом и ему дадут вечное поселение в другом месте, не в том, где я. Вася останется совсем один, потому что Юлина буква, а с ней и дом Васькова, неотвратимо приближается к нам. Тоню весной отправят в спецдетдом. Наконец, по общим отзывам, этап, предстоявший мне, был страшен. Кое-кто уже шел таким, и мало кто оставался в живых. В частности, жертвой такого этапа стал незадолго перед тем друг Уманского, молодой, талантливый Василий Куприянов.

Ирония судьбы состояла в том, что такой адрес вечного поселения я получила благодаря сочувствию и снисхождению полковника Цирульничкого. Он хотел облегчить мое положение, и потому мое дело оформлялось не на Колыму — места весьма отдаленные, а на Восточную Сибирь — места не столь отдаленные, материк все-таки. Откуда ему было знать все мои обстоятельства!

После получения приговора мой следователь Гайдуков предложил мне являться к нему на отметку ч е р е з д е н ь. Этап в Восточную Сибирь пока откладывался из-за сильных морозов, но в любой час мог быть назначен.

Началась совсем чудовищная жизнь. В углу нашей комнаты стояли мои уже связанные этапные узлы. Каждое утро в день отметки я прощалась со всеми, как навсегда. А отыграв на пианино свои оптимистические марши и лирические песни, я прямоком бежала не домой, а в Белый дом на отметку. Там-то, в коридоре, и увидел меня однажды полковник Цирульничкий.

— Что с вами? Больны? — спросил он, взглянув на мое заострившееся желтое лицо с черными подглазницами.

— Здорова. Ведь отчаяние нельзя считать болезнью.

— Почему отчаяние? — досадливо спросил полковник. — Ведь вам вынесли сравнительно мягкий приговор. Не Колыма с ее вечной мерзлотой, а Восточная Сибирь. Там лето настоящее, там овощи, там железная дорога. К вам приедут родные.

— У меня нет больше родных, которые могут приехать.

Полковник смотрел на меня с явным неудовольствием. Не возражений он ждал, а благодарности.

— Я здесь уже обжилась. У меня есть угол, работа, близкие люди. А там все заново: голый человек на голой земле, — попыталась я разъяснить.

После короткой паузы полковник распахнул дверь в свой кабинет.

— Зайдите! Если Колыма как место ссылки для вас предпочтительней, то напишите об этом заявление на имя Особого совещания. Мы отправим ваше заявление в Москву. Мотивируйте болезнью и невозможностью следовать этапом.

— А как же этап?

— Отсрочим до получения ответа . . .

От волнения никак не могу сформулировать текст заявления, и полковник диктует мне. «Ввиду резко ослабленного здоровья . . . Невозможность перенести дальний этап . . . Ввиду того, что сын учится в выпускном классе магаданской школы . . .»

— А дочка еще совсем маленькая, — добавляю я вдруг.

— Какая дочка?

И тут я обрушиваю на полковника историю Тони. Вот уж кто наверняка не перенесет этапа . . . А ее все время прочат в Комсомольск . . . Не хочет ли полковник взглянуть на девочку? Она здесь, сидит на стуле в коридоре, ждет меня.

— У нас? Ребенок?

— Ну да. Мне пришлось взять ее с собой, чтобы не возвращаться в детский сад. Я должна сегодня вести ее в баню.

— И что же, хотите официально удочерить?

— Пыталась. Отказали. Говорят, репрессированным нельзя.

Так состоялась первая встреча трехлетней Тони с всеильным министерством. Вот примерное изложение ее диалога с полковником.

— Здравствуй, Тоня. Скажи, не хочешь ли ты поехать в Москву?

— С мамой?

— Нет, со мной. Маме ведь надо работать . . .

— Без мамы не поеду.

— Гм . . . Жалко. А там в Москве есть цирк. А в цирке медведи, обезьяны, лисицы . . .

— У нас дома тоже есть кошка Агафья.

— Агафья? — переспросил полковник и взял телефонную трубку. Дозвонившись до отдела опеки и попечительства при горно, он отрывисто сказал, что к ним на днях обратится ссыльнопоселенка такая-то. По вопросу о девочке Антонине. Так вот — мнение МГБ — удовлетворить просьбу.

Представляя себе, как выкатила глаза та ушастенькая, похожая на летучую мышь, которая говорила мне, что меня надо бы лишить материнских прав даже на собственных детей.

Но что же все-таки происходило с полковником? Почему он выказывал такие далекие от его профессии чувства? Ведь сколько добра сделал мне этот человек, увешанный орденами за службу в органах! Выпустил из тюрьмы. (Другие в ожидании оформления вечной ссылки просидели не месяц, как я, а все пять-шесть месяцев.) Помог восстановиться на рабо-

те при активном сопротивлении отдела кадров. Взялся хлопотать о перемене места ссылки и отсрочил этап. А теперь вот Тоня . . .

Тогда все это загадочное поведение было мне неясно. Только после отъезда полковника из Магадана я услышала, что во время моей эпопеи сорок девятого года полковник уже знал о своей близкой отставке. Он был ошарашен этим, душевно метался, не находя объяснений чинимой над ним «несправедливости», и, может быть, впервые задумался о судьбах других людей. Я просто попалась ему под руку во время его великого смятения чувств.

А то, что с ним случилось, было связано с другим землетрясением сорок девятого года, эпицентр которого находился на материке. До нас еще только начали доноситься слабые раскаты этого далекого грома. Дело в том, что у полковника, при всех его заслугах перед органами, был изъян в анкете. Изъян роковой и неустрашимый. Он относился к пятому пункту анкеты — о национальной принадлежности.

Так или иначе, но через несколько дней после встречи Тони с полковником мы выходили с ней из Магаданского загса, унося с собой метрическое свидетельство, где в графе «Мать» значилось мое имя, отчество и фамилия. И хотя Юля продолжала твердить, что все это моя дикая фантазия, за которую мы все еще заплатимся, но и она вздохнула с облегчением, осознав, что мы больше не должны бояться детского этапа, висевшего над нами грозной тучей целых полтора года.

Сравнительно быстро, месяца через полтора, пришел и ответ на мое заявление в Особое совещание МГБ. Мне благосклонно разрешили остаться навеки на Колыме. Это событие мы шумно отпраздновали за семейным столом. Великое дело — теория меньшего зла! Я с радостью принимаю из рук коменданта бумажку — вместо вида на жительство, — в которой сказано, что я ограничена в правах передвижения семью километрами от Магадана, что я нахожусь под гласным надзором органов МГБ и обязана дважды в месяц являться на регистрацию. И что все это — пожизненно!

Радуюсь я совершенно искренно. Разве это не меньшее зло — остаться со своими близкими в уже обжитой конуре, работать в детском саду, быть окруженной многолетними товарищами по тюрьме и лагерю! А ведь могла быть Восточная Сибирь, с цинготно-дизентерийным голодным этапом, таким, в котором, корчась, умирал друг Уманского Василий Куприянов. Могла быть новая неизвестная пустыня, в которой надо было начинать все сызнова — от крыши над головой до первого доброжелательно-го человека по соседству.

От формулировок «вечно» и «пожизненно» я тоже не приходила в отчаяние.

— Еще неизвестно до конца ЧЬЕЙ жизни . . . Моей или Его? — разъясняла я своим близким. — А он как-никак старше моей мамы . . .

Не успели нарадоваться на вечное поселение в пределах Колымского края, как подоспела еще одна радость. По той же теории меньшего зла. В доме Васькова произошел, выражаясь современным языком, демографический взрыв. В связи с абсолютным перенаселением тюрьмы наши местные эмгеписты добились от Москвы разрешения оформлять повторников на пожизненное поселение без предварительного тюремного заключения. С этих пор всех подлежащих переводу на ссылку повторников перестали арестовывать. Их стали просто вызывать в Белый дом, где у них отбирали паспорта, брали подписку о невыезде и отпускали домой. А месяца через два, получив из Москвы оформленные дела, повторников вызывали вторично и вручали им вместо паспорта такой документ, каким уже владела я. К великой нашей радости, эта благодетельная реформа



произошла на уровне буквы И. Так что до буквы К и, следовательно, до ареста Юли, дело не дошло.

Так — на редкость парадоксально — наш карточный домик не только выстоял в землетрясении сорок девятого года, но даже вроде бы и несколько укрепился.

Или, может быть, правильней сравнить нашу комнату с ковчегом, плывущим в перевозданных волнах? Ну, если и так, то факт остается фактом: сотрясаемый толчками довольно высоких баллов ковчег наш вплывал в новое десятилетие.

... Наступили пятидесятые годы. Пришла весна пятидесятого. Вася кончает школу. Замелькали, как в кино, быстро мелькающие кадры. Аттестат зрелости с жирной тройкой по физике. С такой анкетой да еще с тройкой! Как же в вуз попасть!

Выпускной вечер в школе. Сажу среди родителей выпускников рядом с полковницами и генеральшами. Слушаю, как длинноносенькая шустрая историчка призывает своих учеников не забывать наш светлый золотой Магадан, построенный руками энтузиастов. Гордиться, что учились в таком городе ...

Я в своем самом парадном платье из последней предсмертной маминной посылки. Оно с плеча моей сестры Наташи и до этого вечера казалось мне вполне приличным. Но в соседстве с шелками, чернобурками и массой ювелирных изделий я выгляжу самой затрапезной кухаркой, чьего сына выучили по милости господ.

(Вообще-то я дьявольски неблагодарна! Ведь именно эти тетки, так безвкусно расфуфыренные, проявили человечность: давали Васе за счет родительского комитета бесплатный обед, пока я сидела в доме Васькова.)

На выпускном вечере Васька впервые напился допьяна, и я волочила его по ночным улицам домой, видя себя со стороны в этой классической русской роли и горько всхлипывая на ходу. А наутро он совершенно поребьачьи просил прощения и зарекался от повторения. Но я плакала нетешно.

На самом деле я плакала, понятно, не от Васиного дебюта по части выпивки, а оттого, что на меня снова надвигалось страшное испытание: день Васиного отъезда на материк. Как они пролетели — эти два года нашей общей жизни! И вот опять он уедет. И тосковать о нем, теперь уже таком моем, таком нашем, я буду еще больше, чем раньше тосковала об оставленном четырехлетнем.

Впервые мне показалось, что вечное поселение — пусть хоть и в пределах Колымы — не такая уж сладость. И хотя сын дает мне слово прилететь на каникулы, а я даю ему слово обязательно, чего бы то ни стоило, скопить денег на эту его поездку, но у обоих на уме: не вечная ли ждет нас разлука?

И вот он пришел, этот день. Магаданский аэропорт, тогда еще довольно пустынный. Вольные родители Васиных одноклассников, провожающие своих детей так же, как я, но, в отличие от меня, весело обещающие детям скоро приехать в отпуск на материк.

Посадка. Последнее объятие. Последние нелепые слова. Про галоши, кажется. Не забыл ли галоши? И маленькая точка в небе — гудящий шмель. Летит, унося от меня моего последнего кровного мальчишку, обломок моей настоящей семьи. А я стою одна-одинешенька на опустевшем аэродроме, все смотрю вверх, хотя уже ничего не видно. Одна ... Антону нельзя показываться в официальных местах, он попрощался с Васей накануне. Юля — на работе. Тоню я не взяла с собой, чтобы не плакала.

Улетел Васька. Точно и не было, точно приснился. Еле доволакиваю до автобуса враз отяжелевшие ноги. Вхожу в комнату, которая тоже уже почти не моя, потому что мы с Тоней должны уехать отсюда, так как Юлька моя выходит замуж. Я рада за нее, за ее будущего мужа. Это очень степенный, рассудительный белорус, бывший учитель, работник минского горно. Отбыв свой срок, он не стремится теперь никуда. Дело в том, что до ареста, там, в Минске, он был женат на еврейке. Во время оккупации ее убили гитлеровцы. Заодно убили и двоих его детей — девочку и мальчика, хотя они и числились по отцу белорусами. Добрый и тихий человек, он имел одну странность — не мог видеть маленьких девочек. Все они казались ему похожими на его пятилетнюю расстрелянную дочку. «Вы уж извините, что я с вашей Тоней не разговариваю. Не могу. Дочку напоминает».

Да, я рада была за Юлю, но уходить из нашей комнаты, где все было еще полно Васей, мне было тяжело. Старалась не показывать этого Юле, которая так активно помогала мне к тому же хлопотать насчет нового жилья.

В конце концов хлопоты увенчались успехом. В нашем бараке, на первом этаже, была огромная, как сарай, общая кухня. Вот от нее-то и разрешили отгородить фанерной перегородкой восемь метров.

Неприятно было в нашем новом доме. Всегда пахло убежавшими щами, горелым молоком, рыбой на постном масле. С раннего утра начиналась кухонная жизнь. Пятнадцать женщин — из них немало бывших уголовниц — во весь голос, не стесняясь в выражениях, обсуждали свои дела, скандалили, пели.

Антон, приходя по вечерам, утешал: скоро уже, вот выйдет он из лагеря, и мы сменим эту комнату на другую. Я устало улыбалась в ответ, как улыбаются ребенку, обещающему отрубить голову Змею Горынычу. До конца его срока оставалось еще больше двух лет. Да еще и выпустят ли его вообще? Ведь немец! А время-то какое!

Время, действительно, никак не утихало. Пятидесятый оказался ничуть не легче сорок девятого. наших бывших эзка переводили на вечное поселение во все возрастающей прогрессии. Многих после этого не оставляли в Магадане, отправляли поглубже в тайгу. Каждый день приносил новости, и все в одном плане. Покончили самоубийством Шура Сидоренко и Ганс Штерн. Они жили вместе уже несколько лет, любили друг друга с какой-то иступленностью. При получении ссылки на поселение каждого направили в противоположный конец колымской пустыни. Зарегистрировать их брак, чтобы можно было жить в ссылке вместе, не разрешили: он был австрийский подданный. Они натопили в своей халупе печку, закрыли трубу и умерли от угара. Повесился мой старый знакомый, беличьинский врач-терапевт Каламбет. Сошла с ума Тина Келлер. Нашу Гертруду тоже после выхода из дома Васькова не оставили в Магадане, а отправили в Омсукчан, и она писала оттуда необычные для нее письма: не очень-то старалась «теоретически обосновать» «данный этап», а просто горько жаловалась на тяжелое положение.

Зловещие новости добирались к нам и с материка. Сплошные мартирологи да списки повторно арестованных. Недаром я так боялась Восточной Сибири. Хоть она и считалась краем «не столь отдаленным», но наши пропадали там с голоду, не получая работы, даже физической. Пропадали и с тоски, так как были разлучены со всеми многолетними друзьями по несчастью. Потрясло всех известие о самоубийстве Липы Каплан. Все ее помнили по лагерю как хохотушку, кровь с молоком, рубаху-парня. Бывало, Циммерманша как увидит Липу, так и гневается: «Цветете, прямо как на курорте!» Потом уж стали мы при появлении Циммерман

кричать Липе: «Прячься, а то попадешь за свой румянец на Известковую!» Вот эта-то румяная хохотушка и выпила яд в ожидании второго ареста.

Можно ли было в непроглядной тьме таких новостей разглядеть какой-нибудь лученышек надежды? И я отмахивалась почти с досадой, когда Антон уже несколько раз повторял мне, что у него появилась надежда на досрочное освобождение. К чему такие детские разговоры! Хоть бы пересидеть не пришлось! Но он снова и снова подробно рассказывал, как ему удалось вылечить от многолетней экземы одного крупного начальника. Тот давно уже считал себя неизлечимым и сейчас просто ликовал от избавления. Он клялся, что освободит доктора досрочно, пусть тот хоть сто раз немец. Нет, я все равно не принимала этого всерьез. Уж очень не ложилось такое в цвет времени.

Но мы жили в стране парадоксов. И однажды, довольно поздно вечером, когда Тоня уже спала, а я еще дописывала, судорожно зевая, свои бесконечные «планы музыкальных занятий», в нашу новенькую фанерную дверь постучали. Это был какой-то странный стук. Торжествующий какой-то, вроде на мотив марша из «Аиды».

— Скажите, пожалуйста, не здесь ли квартира доктора Вальтера? — сказал Антон, протаскивая сквозь узенькую дверь свой деревянный лагерьный чемодан. — Мне кажется, что это квартира в о л ь н о г о доктора Вальтера. . . А вы, по всей вероятности, его супруга, фрау Вальтер?

Он сверкал зубами, громко хохотал, разбудил и растормошил Тонию, включил яркий верхний свет. Потом выложил на стол свою справку об освобождении. Это не был сон. Его действительно освободили досрочно, за два года до окончания его ТРЕТЬЕГО срока.

Теперь на своих восьми метрах околукохонного пространства мы зажили уже вдвоем. Антон работал как в о л ь н ы й врач в той же самой больнице, где практиковал еще как заключенный. Но для прописки его на моей п л о щ а д и от нас потребовали регистрации брака. Это было единственное право, которое давали поселенцам: право так называемого с о в м е с т н о г о п р о ж и в а н и я в зарегистрированном браке. Причем имелся в виду только новый брак, заключенный уже по месту ссылки. Материковские супруги, разлученные в тридцать седьмом, ни в коем случае не соединялись.

Мне не очень-то хотелось идти в загс. У меня были сложные мучительные чувства по отношению к моему материковскому мужу Павлу Аксенову, вернее — к памяти Павла. Потому что, независимо от того, жив ли он, я была твердо убеждена, что мы никогда не встретимся. В той, другой, в первой моей жизни, которая теперь казалась приснившейся, мы любили и понимали друг друга. Думаю, что мы никогда не расстались бы, если бы в это дело не вмешался Родной Отец, Лучший друг советских семей. И я продолжала любить Павла, как любят дорогого покойника. Странно, но мне казалось, что они с Антоном понравились бы друг другу. Я часто рассказывала Васе об отце в присутствии Антона, и он охотно поддерживал эти беседы. Не знаю, была ли я при этом преступницей и двоемужницей. Угрызения совести я не чувствовала. Но теперь, когда регистрация брака с Антоном стала практическим вопросом дня, мне, по какой-то необъяснимой логике, вдруг показалось, что именно вот этой-то регистрации и надо бы избежать ради Павла. Как будто вмешательство загса наносило ему оскорбление.

Формально я могла считать себя вдовой, потому что еще в тридцать девятом, в ответ на мой запрос о судьбе мужа, мне дали справку: скончался от воспаления легких. Но после этой т о ч н о й справки от него были письма. Когда погиб Алеша, мама телеграфировала мне: «Живи

ради Васи, отца у него тоже нет». Но и после этого были слухи, что жив, что на Инте.

Антон, заметив, что я оттягиваю прогулку в загс, все понял без слов.

— Ведь это только чисто полицейская процедура. Чтобы избежать лишних страданий. А то у нас может получиться, как у Шуры с Гансом. Тебе дадут приказ — на запад, мне — в другую сторону . . .

В загсе от нас не потребовали никаких справок о судьбах моего мужа и первой жены Антона. Оказалось, что существует закон, разрешающий новый брак в случае десятилетнего безвестного отсутствия одного из супругов. А все заживо погребенные на одной из земель в царстве Змея Горыныча считались безвестно отсутствующими и для материка и для других уголков Горынычева царства.

Вот так мы оказались к началу пятьдесят первого года обладателями нескольких солидных документов: брачного свидетельства, Тоннной метрики, Васиного студенческого билета. Вася, несмотря на тройку, поступил в медицинский институт и на всякий случай выслал нам об этом справку.

Как ни скромны были все эти бумажки, но и они обладали кусочком той чудодейственной силы, которую имеет в нашей стране бумага. Хоть и непрочный, но все-таки какой-то барьер для нашего карточного домика они создавали. По крайней мере теперь у нас были в запасе официальные ответы на подозрительные вопросы «А кто она (он) Вам?»

Неисповедимы извилины судьбы заключенных! Получилось, что наш карточный домик не только выстоял в землетрясение сорок девятого-пятидесятого годов, но даже укрепился, легализовался.

Впрочем, только до нового подземного толчка . . .

#### Глава двенадцатая

## СЕМЕРО КОЗЛЯТ НА ИДЕОЛОГИЧЕСКОМ ФРОНТЕ

Новые преследования не заставили себя ждать. На этот раз несчастье непосредственно выросло из моих трудов праведных. Так как денег нам по-прежнему не хватало, а сейчас приходилось высылать регулярно. Васе, то я не отказывалась ни от каких частных уроков. И хотя меня несколько смутило, что семья, на этот раз предложившая мне урок, была уж очень высокопоставленной, но я все-таки согласилась.

Это был, так сказать, второй по зажиточности в чиновном мире дом Колымы. Мне предложили урок в семье начальника политуправления Дальстроя Шевченко.

Жена этого начальника — красивая женщина с довольно интеллигентным лицом — увидела меня в нашем детском саду. Она ходила к нам как член женсовета. Ей понравились музыкальные занятия, особенно драматизация сказок. Мы играли «Волка и семерых козлят». Самого шустрого и сообразительного седьмого козлика играл Эдик Климов. Смотреть его сбегались все няни из групп и поварихи с кухни. Очаровал он и знатную даму. В перерыве она сделала мне предложение репетировать ее сына по-русскому, сообщив с горечью, что ее четырнадцатилетний мальчик интересуется только футболом.

Я уже слышала кое-что об этой даме от обслуживавших ее бывших заключенных. Говорили, что она резко отличается от других начальственных супругов. Читает книги, интересуется музыкой, а главное, проявляет

необъяснимый интерес к своему обслуживающему персоналу. Человеческий интерес. Художница Шухаева рассказывала мне, что эта дама не только рассматривает у нее в дамском ателье новые выкройки, но и задает ей довольно осмысленные вопросы о живописи, о прошлом жизни Шухаевой в Париже. Свою маникюршу, известную у нас на Эльгене под именем «Крошка Альма», — веселую неунывающую толстуху-латышку, — она, иронически улыбаясь, спросила, как это Альма при такой своей комплекции сумела стать диверсанткой . . . Своей прачке Ане Мураловой она сразу сказала, что знала ее мужа, расстрелянного в тридцать седьмом году бывшего начальника Московского военного округа. Похоже было, что огненное дыхание тридцать седьмого года если и не опалило ее, то пронеслось где-то поблизости, заставив вздрогнуть.

Я стала три раза в неделю подниматься на третий этаж правительственного дома. Проходила мимо двух охранников — по одному на каждом этаже, — предъявляя им записку моей нанимательницы: «Прошу пропустить учительницу».

С учеником мне приходилось трудно. Это был законченный оболтус, цинично ухмылявшийся в ответ на мои опасения, не рискует ли он остаться на второй год в том же классе. Он щурил свои красивые, как у матери, глаза и басил: «Это было бы опаснее для учителей, чем для меня. Не хватает им того, чтобы сын Шевченко стал у них второгодником . . .»

— Невыносимый ребенок, — вздыхала мать, — оставьте его, пойдете кофе пить . . .

Она явно хотела сделать меня своей компаньонкой. Но я уклонялась, твердо помня золотое правило о барской любви, которой надо опасаться пуще всех печалей. Но даже мои краткие ответы на ее расспросы о судьбе моей семьи, о моем вторичном аресте, о суде, о тюрьме и лагере — вызывали у нее на глазах слезы.

Хозяина я изредка встречала в коридоре. Он вежливо кланялся и скрывался за дверью своего кабинета. В его внешности тоже была какая-то несовместимость с колымскими стандартами. Это было лицо интеллигентного человека.

И вдруг однажды ко мне в детский сад явилась горничная Шевченко с конвертом. В нем лежали деньги за проведенные уроки.

— Хозяйка велела вам передать, что пока больше ходить не надо. Мальчик заболел.

Она направилась было к двери, потом вернулась, отозвала меня в сторону и зашептала, переходя на «ты».

— Скажу-ка я тебе правду, только ты меня не выдавай! Сама-то я тоже бывшая зэка, чего ж буду своим людям врать? Мальчишка здоровехонек, что твой бугай. Но у хозяина вышел скандал с начальником Дальстроя, и тот говорит ему, что, мол, ваша жена окружила себя заключенными. Дескать, и портниха, и прачка, и прислуга, и маникюрша и даже учительница — все контрики. А учительница — так даже тюряк! Это, мол, неспроста. Так что и я, наверно, на этом месте последние дни доживаю. Хоть бы тебя отсюда, с детсада-то, не сняли, а? В общем, имей в виду . . .

Я давно слышала, что между начальником Дальстроя Митраковым, сменившим уволенного в отставку Никишова, и начальником политуправления Шевченко — нелады. Не знаю, было ли там что-нибудь принципиальное или просто шла борьба за власть в пределах «Дальней планеты». Известно лишь, что вражда между двумя «первыми людьми» Колымы дошла до такой остроты, что Митраков начал «подбирать ключи» под Шевченко. Пристрастие его жены к знакомствам с бывшими заключенными — было очень удобным ключом.

И скоро до меня в нескольких вариантах донеслась весть, что я стала темой обсуждения магаданского партийного актива, что упоминалась моя фамилия с эпитетом «известная террористка». Митраков якобы сказал примерно так: «Вот мы вас, товарищ Шевченко, охраняем от возможных покушений со стороны контрреволюционных элементов, которыми кишит наш край. У вас на лестнице — постоянная охрана. А вы пригласили известную террористку такую-то в качестве учительницы к своему сыну. Да и вообще в окружении вашей жены — сплошные шпионы, диверсанты, вредители . . .»

Судьба моя была решена. Я стала тем самым холопом, у которого чуб болит, когда дерутся паны. Меня сняли с работы.

— Без всякого объяснения причин, — взволнованно обобщала мне моя заведующая, не раз бегавшая в отдел кадров, пытаюсь отстоять меня. — Умоляла хоть недели две подождать, чтобы хоть утренник провести — ни в какую . . . И что стряслось? Может, вы сами знаете?

Я знала. Но что толку было рассказывать об этом заведующей!

— Как без рук остаемся, — продолжала сокрушаться она, — и главное, после такого успеха.

Под успехом она имела в виду наше недавнее выступление по радио все с теми же «Семерыми козлятами». В программе для малышей. Меня всегда и умиляло и обескураживало это трогательное непонимание оригинальных закономерностей нашего бытия, которое проявлялось у простых бесхитростных людей. Наша заведующая работала здесь, в самом эпицентре землетрясения, уже несколько лет, но все равно ей была недоступна алогичная связь между успехами бывшего заключенного в работе и снятием его с этой самой работы.

Я-то, конечно, все понимала и, наученная горьким опытом, очень убедительно просила работников радио, ведших программу, не называть моего имени. Они и не назвали его. Сказали так: «Вы слушали радиоспектакль для малышей «Волк и семеро козлят» в исполнении воспитанников старшей группы Магаданского детского сада № 3. Текст выступления составлен музыкальным работником этого сада».

Но такое прозрачное инкогнито не спасло положение. Наоборот, даже подлило масла в огонь. В доклад Митракова, сделанный на партактиве, происшествие с семью козлятами вошло в такой редакции: «Благодаря политической беспечности работников радио, а также тех, кто руководит ими, слегка замаскированный классовый враг, отбивший срок за террористическую деятельность, получил трибуну. Это не первый случай, когда при попустительстве соответствующих организаций врагам удается пролезть на идеологический фронт». Вот на такую головокружительную принципиальную высоту были подняты бедные семеро козлят!

Я была в отчаянии. Это происшествие потрясло меня, пожалуй, не меньше, чем недавний второй арест. Напрасно Антон со своим безудержным оптимизмом убеждал меня, что все не так плохо. Вот если бы это случилось, когда он еще был в лагере, — это действительно поставило бы нас в очень тяжелое положение. А сейчас, что же? Ведь он получает свою зарплату в больнице, и с голода мы не пропадем.

Меня мало утешало это рассуждение. Дело было не только в деньгах. Угнетала мысль, что ты полностью бесправна, что тебя швыряют, как вещь, что надежды хотя бы на относительную самостоятельность твоих поступков (сравнительно с тюрьмой и лагерем) иллюзорны. Вот захотели — и одним движением вышвыривают тебя из этого коллектива детей, где ты со всем сроднилась за четыре года работы, где каждый ребенок для тебя — кусок твоей жизни. Они, конечно, обо всем догадались, наши многоопытные эковские дети. Ни на минуту не поверили в официальное

объяснение: заболела. Я приходила туда потихоньку, чтобы подписать «обходной лист», стараясь не встретиться с ребятами. Но они ловили меня, обхватывали за колени, ревя ревели, приговаривая: «Евгеничку Семеновку опять на этап». . . Они не просили меня остаться, отлично знали, что не от меня зависит. Только Эдик страстно нашептывал мне в ухо, что уже недолго осталось потерпеть: скоро он вырастет, уже через месяц пойдет в школу — а тогда отомстит всем, кто меня обижает.

Пытка усугублялась еще и беготней с этим несчастным обходным листком. Приходилось отвечать на расспросы, сочувствия, предположения. Но вот наконец настал день, когда я проводила Антона на работу, Тоню — в детский сад, а сама вернулась в каморку, отделенную от кухни фанеркой, и беспощадно осознала, что мне некуда больше торопиться, не надо больше выдумывать новые зрелища для ребят, писать постылые планы и отчеты, разучивать новые марши и песни. Одним словом, впервые с четырнадцатилетнего возраста — если не считать тюрьмы — я была безработная, иждивенка. Существование мое облиняло до полной серости. Не было даже сил, чтобы отправиться на поиски другой работы.

Чтобы вывести меня из этого оупения, Антон сотворил невозможное. Это было поистине чудо! Он купил мне пианино. Самое настоящее пианино марки «Красный Октябрь», сверкавшее черным лаком и позолотой педалей. Когда его подвезли на грузовике к нашему бараку, все население двух этажей, человек сто, высыпало на улицу. В те времена, в 1951 году, в Магадане вообще было считанное количество инструментов, тем более в частном владении. Нечего и говорить, что в нашем Гарлеме появление пианино восприняли как феномен другой солнечной системы.

Спасая меня от неожиданного горя, Антон проявил удивительную настойчивость. Использовал все связи своих вольных пациентов, залез в долги на три года. Зато теперь, возвращаясь с работы, он останавливался в дверях и со счастливой улыбкой несколько минут любовался черным сиянием пианино, прислонясь к той самой перегородке, из-за которой круглые сутки шел чад и крикливая ругань. И инструмент вроде бы улыбался ему в ответ своими нежно-кремовыми клавишами. Они казались видением другого мира рядом с топчаном, табуретками, ватными подушками в серых лагерных наволочках с завязками. Иногда Антон и сам подсаживался к пианино и брал медленные аккорды, напоминавшие орган или фисгармонию.

Если сама покупка пианино была чудом, то почти таким же чудом было и то, что его удалось установить все на тех же восьми метрах, где мы жили втроем и где кроме спальных мест, табуреток и стола накопилось уже множество книжных полок.

Антон нашел мне несколько частных уроков. Это давало кой-какой заработок, но не выводило из ощущения отверженности, выброшенности из жизни. Только сейчас, потеряв работу, я поняла до конца, какое это было счастье — каждый день на несколько часов забывать о том, что ты прокаженная. Это давал мне детский сад, где я была нужна целому коллективу, где со мной считались, меня любили, ждали моего прихода. А теперь . . . Было что-то бесконечно унижительное в том, что надо приходиться в эти ломающиеся от изобилия благ квартиры, старательно вытирать ноги, прежде чем ступишь на неумеренно лоснящийся паркет, толковать с хозяйками об успехах их обожаемых чадушек. А хозяйки эти нисколько не походили на жену Шевченко. Они каждым жестом и словом подчеркивали, что осчастливили меня, давая заработать на хлеб.

На сером фоне такого существования выделялись к тому же еще две черным-чернущие даты: первое и пятнадцатое число каждого месяца. В эти числа происходила так называемая «отметка», то есть мне надо

было идти на регистрацию в комендатуру МГБ. Она помещалась в небольшом домишке на площади, между Белым домом (МГБ) и Красным домом (МВД). Уже с раннего утра ссыльнопоселенцы выстраивались в длинную очередь, заполняя узенький коридорчик, насыщая его тревожными перешептываниями, нервными покашливаниями, клубами табачного дыма.

Процедура «отметки» была, казалось бы, несложна. Штамп с датой на нашем волчьем билете, заменяющем паспорт, и птичка в личной карточке, хранящейся в ящике на столе коменданта. Но ведь алфавитный порядок, в котором переводили бывших заключенных на поселение, далеко еще не был исчерпан. Все прибывали и прибывали новые ссыльнопоселенцы. И коменданты путались в карточках, подолгу разыскивая их, иногда не находили, приказывали прийти еще и завтра. В общем, простаивать в коридоре у ободранной двери приходилось иногда очень долго.

Уже за два-три дня до первого или пятнадцатого я начинала ощущать невыносимую тяжесть от предвкушения близкого свидания с заветным учреждением. Рассудительные самоговоры — дескать, пустая формальность — не помогали. Еще меньше помогали уговоры Антона, не очень-то искренние, потому что сквозь его оптимистические речи, основанные на теории меньшего зла, то и дело прорывалась тревога. Дело в том, что после каждого отметочного дня с кем-нибудь что-нибудь да случалось. Кого-то отправляли из Магадана в тайгу. Кого-то переспрашивали, где он работает, и через несколько дней снимали с работы. А некоторым просто говорили «пройдемте» и уводили в задний дворик комендатуры, а откуда — неизвестно куда. И тогда всех охватывал снова тот Великий Страх, тот невытравимый из нашего сознания ужас, который всем был так хорошо знаком по Бутыркам, по Лефортову, по Ярославке, по дому Васькова . . . Все начинали убеждать друг друга, что ни о каких расстрелах не может быть и речи, но тем не менее в висках стучало, под ложечкой перекатывалась отвратительная тошнота, а все люди вокруг становились как бы бесплотными и крутились перед глазами, как китайские тени.

Были ли мы трусами? Наверяд ли. Просто срабатывала нервная память. Те, кто не прошел через все наши круги, не понимают этого. Меня и сейчас, двадцать с лишним лет спустя после посещения Магаданской комендатуры, раздражает, когда я слышу привычные реплики «вольняшек»: «Вам-то чего бояться? Вы-то ведь уж и не такое испытали!» Вот именно. Мы испытали. Вы представляете себе это чисто умозрительно, а мы ЗНАЕМ.

И вот дважды в месяц мы толпились в этом душном коридорчике, охваченные общей живой болью, сроднившимся одинаковыми ранами. Каждый, кто уже выходит от коменданта, придерживая за собой скрипучую дверь и бережно складывая свой вид на жительство, — это счастливлчк. Ему уже прилепнули штамп, делающий его вольноотпущенником на целых тринадцать дней. Каждый, кто только еще входит в эту дверь, суетливо развертывая на ходу свою бумагу, — это пловец, прыгающий в неизведанную пучину. Голова у него втянута в плечи, готовая к принятию очередного удара.

Каждое первое и пятнадцатое мы с Антоном прощаемся, как навсегда. Он очень страдает от того, что ему не надо отмечаться. Вину передо мной чувствует за то, что мне хуже. Хотелось бы ему проводить меня до комендатуры, но он должен вовремя быть на работе, повесить номерок. Он только доводит меня до порога нашего барака и говорит: «Ты прости меня, Женюша, если я тебя когда-нибудь обидел» . . . А я: «И ты меня тоже . . . Тоню, смотри, не оставь».



После того, как штамп отметки уже в кармане и ничего, слава Богу, не случилось, я спешу откуда-нибудь позвонить ему в больницу. «Все в порядке. Иду домой» . . . И так каждое первое и каждое пятнадцатое.

. . . В начале пятьдесят второго года нам удалось переменить квартиру. Взамен своей восьмиметровой клетушки мы получили теперь целых пятнадцать метров в одном из новых бараков поселка Нагаево. Здесь неподалеку была бухта, веяло морским воздухом, бараки еще не были так загажены, как в нашем Старом Сангородке. Население здесь было смешанное. Основная масса бывших заключенных, ссыльнопоселенцев с семьями разводнялась вольняшками из тех, кто победнее, кто недавно прибыл с материка и еще не имел процентных надбавок.

Радость наша была отравлена тем, что она вытекла из чужой беды. В нашей новой комнате только что скончался от инфаркта талантливый ссыльный художник Исаак Шерман. Его жена Марина, с которой они прошли вместе весь путь, не хотела, не могла ни минуты оставаться в доме, где все напоминало мужа. Она согласилась на нашу конуру, торопила нас с обменом и была благодарна Антону за то, что он все хлопоты взял на себя.

Новое жилище было по соседству с больницей, где работал Антон. Но зато до центра города надо было добираться через большой заснеженный пустырь, открытый всем ветрам, почти неосвещенный и очень удобный для вечернего промысла уголовных. А они пошаливали. Вся активность Белого и Красного домов была направлена на нас, врагов народа, террористов, шпионов, диверсантов, вредителей. До блатарей у начальства обычно руки не доходили. Спыхватывались только эпизодически, после каких-либо особых происшествий. В темные зимние вечера Антон не пускал меня одну через этот пустырь и старался сам привести Тоню из детского сада. Но в дни его круглосуточных дежурств мне приходилось идти за ней самой. Шла, опасливо озираясь на каждого встречного.

И не зря опасалась. Помню один трагикомический случай. Было всего-то около семи вечера, но наш пустырь выглядел полуночной полярной равниной. Мы с Тоней торопливо пробирались по тропинке между снегами. Тоня первая заметила скачущую прямо по сугробам мужскую фигуру.

— А это хороший дядя? Или противный? Он зачем в снегу купается?

Он купался в снегу, чтобы догнать нас и двигаться параллельно. Я знала эту волчью блатную повадку: идти параллельно преследуемой жертве, а потом вдруг внезапным прыжком перегородить ей путь, став лицом к лицу. И только что я вспомнила об этом, как все произошло именно так. Кроме прыжка тут был использован еще и световой удар. Он чиркнул большой зажигалкой, и в глаза мне мелькнул синий пламень. Тоня закричала и заплакала.

— Уйми пацанку! — сказал он неожиданно звучным баритоном. — И сама не ори . . . А то хуже будет. Слушай сюда! Не бойсь! Мне твоих грошей не надо и твою лису тоже.

Он презрительно ткнул пальцем в мой воротник. А тот действительно был из чернобурки. Один чукча-охотник, лечившийся у Антона, продал ему по дешевке небольшую шкурку, и Антон удовлетворил свое тайное пристрастие к роскошной жизни. Он купил эту чернобурку, за что я долго пилила его.

— Не нужна мне твоя лисица, — продолжал наш попутчик, — а нужен мне чистый паспорт. На бабу . . . Во льды иду, поняла? Себе документ сделал, а сейчас бабе своей добавваю. Так что гони паспортягу и давай мотай отсюда с пацанкой твоей. Не трону . . . А за потерю паспорта сотнягу — штраф выложишь, поди не обедняет твой полковник . . .

Мое ссыльнопоселенское удостоверение было при мне. Я ничуть не боялась расстаться с ним. По ходячей поговорке такой документ страшнее найти, чем потерять. Но я все же попыталась урезонить собеседника.

— Послушайте, ваша жена, наверно, совсем молодая, а мне за сорок. Год рождения не подойдет.

— Не твоя забота! Был бы бланк справный, а цифирь эту есть кому пересобачить. Гони, говорю, а то заплачешь . . .

— Вам и вообще мой паспорт не подойдет. По нему далеко не уедешь.

Он гневно рывкнул и недвусмысленно замахнулся на меня. Тоня закричала еще громче.

— Уйми, говорю, пацанку, а то я ее уйму . . .

Я торопливо достала из сумки свой документ.

— Что даешь-то? Паспорт, говорю!

— Это и есть у меня вместо паспорта. Зажгите вашу зажигалку и прочтите, кто я.

Он долго вчитывался, шевеля толстыми, обметанными лихорадкой губами.

— Ог-ра-нич-че-на в пра-вах пере-дви-же-ния . . . Под гласным надзором органов МГБ . . .

И уже совсем бойко, очевидно, хорошо знакомые слова: «Явка на регистрацию первого и пятнадцатого числа каждого месяца» . . .

Он дунул на зажигалку и вдруг раскатился довольно добродушным, почти мальчишеским хохотом.

— Да-к это чё, девка? Это, выходит, тебе самой надо чистый добывать, а?

И тут нам всем троим стало очень забавно. У меня отвалилась из-под ложечки ледяная лягушонка. Тоня запрыгала и закричала: «Дяденька не противный? Он добрый, да?»

Добрый дяденька вразумительно объяснил, что его ввела в заблуждение чернобурка. Он думал — полковница.

— Полковницы не живут в Нагаеве, — резонно возразила я. — Они на улице Сталина и на Колымском шоссе.

Узнав, что имеет дело с женой и дочкой доктора Вальтера, наш новый знакомый искренно расстроился. Сообщил мне, что по блатной конвенции этот доктор является лицом неприкосновенным. Хорошо лечил их на карпункте. Мне бы сразу сказать, так разве стал бы он нас пугать!

— Ты вот чего . . . Ты тут больше в темноте одна с пацанкой не ходи. А то тут Ленчик-Клещ гуляет неподалеку. Он психованный. Пришьет — потом доказывай ему, что Вальтера баба. Давай-ка доведу вас до дому, а то еще обидят . . .

Он взял Тонию за руку, а меня под руку. На тех местах, где поземка обнажила обледенелую землю, он трогательно предупреждал: «Держись мотри, тут склизко» . . . Довел нас до самого барака и сдал с рук на руки Антону, повторив свое предупреждение насчет психованного Ленчика-Клеща.

В общем, наши жилищные условия хоть и улучшились, потому что опять же пятнадцать метров — не восемь, но район Нагаева, чреватый подобными встречами, как-то еще больше замыкал круг моего отчаяния. Непроглядные зимние вечера, ледяной пустырь на пути к центру города — все это еще больше изолировало от обычного ритма жизни, от ежедневной работы, о которой я все больше тосковала.

И вдруг замаячила надежда. И как это ни странно, но именно со стороны тех же семерых козлят, так нагло прорвавшихся на идеологический фронт.

Однажды в воскресный день к нам в Нагаево пришла незнакомая дама. Из вольного мира. Нарядная, энергичная, полная замыслов.

— Вы не узнаете меня? — спросила она. — А ведь мы с вами встречались в дошкольном методкабинете. Я Краевская, Любовь Павловна Краевская, заведующая 2-м детским садом. Еле разыскала вас. А в вашем коридоре еле пробилась сквозь пробку велосипедного транспорта.

Она имела в виду семнадцать человек детей, населявших наш коридор. Они непрерывно ездили по коридору на трехколесных велосипедах, отчаянно звонили в звонки и кричали друг на друга. Большая партия трехколесных велосипедов, полученная недавно магаданским универмагом, была распродана за час. Я тоже успела. И наша Тоня была довольно агрессивным велосипедистом.

Пошутив по поводу велосипедов, Краевская без всяких околичностей сообщила мне, что она собирается хлопотать о моем назначении музыкальным работником в ее детский сад. Пришла спросить согласия. Я с горечью изложила ей всю историю с уроком у Шевченко, с радиопередачей про семерых козлят и речью Митракова на партактиве. Никогда отдел кадров меня не утвердит . . .

— Вот я удивляюсь, — жизнерадостно и напористо прервала меня Любовь Павловна, — вы ведь, говорят, на воле были на ответственной работе. Так неужто не понимаете систему! Разве вам не ясно, что Митракову вы сами абсолютно безразличны, что ему важно было уесть Шевченко . . . Ему и подобрали материал . . . Уверена, что за два месяца он и фамилию вашу забыл . . .

Дальше выяснилось, что муж Краевской — главный архитектор города, у него большие связи. Поможет . . .

— Скажите, — спросила я, — кто же просил вас за меня? Что вас заставляет приняться за такие сложные хлопоты? Неужели просто хотите помочь человеку, попавшему в беду?

— Опять удивляюсь, — спокойно ответила она, глядя на меня в упор веселыми ироническими глазами. — Не понимаете разве систему? Самое главное показать товар лицом. А в работе детского сада — самое важное! — праздники, утренники. На них все начальство приходит. По ним судят о воспитательной работе . . . Ну, а кто просил за вас? Да ваши же семеро козлят! Такой замечательный спектакль был . . .

Она встала, попудрила перед зеркалом нос и, смеясь, добавила:

— Цены себе не знаете . . . Мало того, что музыкант, так еще и сценарист, и режиссер. Я как «Семерых козлят» по радио услышала, так и сказала себе: «Не я буду, если эта женщина не будет у меня работать» . . .

Через две недели после этого визита я уже сидела за роялем во 2-м детском саду. Моя новая заведующая не стала посвящать меня в подробности своих хлопот по поводу моего назначения. Сказала только, что дело проходило «через шесть звеньев». В одном из звеньев фигурировал даже шофер заместителя Митракова. Так или иначе, а семеро козлят снова пробрались на идеологический фронт, захватили трибуну. Далеко не так просто обошлось дело с «Тараканищем». Но об этом — в следующей главе.

#### Глава тринадцатая

## ТАРАКАНИЩЕ

В феврале пятьдесят второго года кончилось мое поражение в правах, присужденное мне в тридцать седьмом военной коллегией в Москве.

Я совсем было запаматовала про это. Пережив второй арест, приговор

на вечное поселение, снятие с работы, я, понятно, не слишком убивалась по поводу своего «лишения». Скорее напротив, было даже некоторое удобство в том, что при довольно частых избирательных кампаниях — то общесоюзных, то республиканских, то местных — нас не тревожили многочисленные агитаторы. На их стук в двери нашего жилья мы привычно и кратко отвечали: «Здесь избирателей нет. Только пораженцы». На Колыме это было не диво, и агитаторы молча ретировались, поставив в своем списке какую-то птичку против номера нашей комнаты.

Но на этот раз наша стандартная отговорка не приостановила напористую агитаторшу.

— Нет, — возразила она, входя, — ваше поражение в правах кончилось пятнадцатого февраля нынешнего года. Я агитатор вашего района и хочу побеседовать с вами.

Это была первоклассная, ну просто великолепная колымская вольная дама. Из обществениц. Жена какого-нибудь не самого высокого, но и не совсем рядового чиновника. Вокруг нее клубился обволакивающий аромат модных духов «Белая сирень». Она сверкала перламутровым маникюром и золотыми коронками. Да и весь остальной реквизит был в полной исправности: темно-голубое джерси, чернобурка, меховые расшитые бисером чукотские унты.

— Хочу вас прежде всего поздравить, — сказала она, протягивая мне руку, — от души приветствовать вас с возвращением в семью трудящихся.

У меня стало горько в рту. Это были те самые незабвенные словеса, что красовались на наших эльгенских воротах. «Через самоотверженный труд вернемся в семью трудящихся».

— Вы ошибаетесь, — угрюмо буркнула я, — у меня пожизненное поселение.

— Нет, милая, не ошибаюсь. По инструкции ссыльнопоселенцы пользуются избирательным правом.

Она самым демократическим образом уселась на край моей кровати и сразу принялась рассказывать мне о производственных достижениях того знатного вольного горняка, за которого мы должны были голосовать.

Это была сталинистка умиленного типа. Она просто вся сочилась благостным восхищением, искренним желанием приобщить и меня, изгоя, к тому гармоничному миру, в котором так плодотворно живет она. Она говорила со мной приблизительно так, как, наверно, разговаривают кроткие и терпеливые монахини-миссионерши с грубыми африканскими аборигенами.

— Так значит, вы меня поняли? Ссыльнопоселенцы пользуются правом избирать . . .

— А быть избранными?

— То есть как это? — любознательно осведомилась она.

— Ну так . . . Вдруг, например, на предвыборном собрании кто-нибудь назовет мою кандидатуру в местный Совет. Могу я баллотироваться?

Агитаторша рассмеялась рассыпчатым и чистым детским смехом.

— Вот и видно, как вы давно оторваны от жизни. Что же вы думаете — так каждый и кричит на предвыборном собрании, что ему вздумается? Списки-то ведь уж заранее подработаны в партийных органах. Ну, ничего, приходите к нам на агитпункт, помаленьку войдете в курс . . . Вы ведь, наверно, тогда еще совсем молоденькая были, когда это случилось-то с вами . . .

— Что случилось? — с тупым упрямством переспросила я.

— Ну, вот когда вы в контрреволюционную организацию попали. Мо-

лоденькая были, не разобрались . . . А они воспользовались . . . В каждую щель лезут . . .

— Кто лезет в щель? — еще более тупо спросила я.

— Ну иностранные-то агенты! От разведок . . . Которые завербовали вас. Но вы не расстраивайтесь. Теперь уж это давно прошло. И Советская власть хочет исправить тех, кто по молодости оступился . . .

— Красивое у вас кольцо, — сказала я, не отводя глаз от сапфирового камня на ее пальце.

— Нравится? — добродушно переспросила она. — Главное, к этому костюму идет . . . Да, говорят, и к глазам . . .

Она бросила мимолетный застенчивый взгляд в зеркало. Глаза у нее и впрямь были безоблачно-голубые.

На прощанье она еще обласкала меня улыбкой и дала лакированную открытку немислимой красоты. Наискосок пышной алой розы вилась золотая лента с надписью «Все на выборы!». Потом от имени всего коллектива агитаторов обратилась ко мне с просьбой не опаздывать, проголосовать пораньше, проявить с первого же шага своей новой жизни высокую сознательность.

Надо сказать, что в условия избирательной игры входило раннее вставание. Предполагалось, что высокие гражданские чувства не дают людям глаз сомкнуть в предвыборную ночь и что с первыми лучами рассвета они наперегонки устремляются к избирательным участкам, открывавшимся в шесть утра. Впрочем, «первые лучи рассвета», неизменно фигурировавшие в колымской газете, — были, конечно, чистойшей данью романтике. В это время года колымский рассвет начинал еле-еле синеть часу так в десятом.

— Женя, Христом-Богом тебя прошу: пойдём голосовать самые первые, — умоляла меня соседка по бараку, избирательница Фирсова Клавдия Трифионовна, так же как и я впервые возвращенная в семью трудящихся.

Клава, отсидевшая восемь лет за какое-то недонесение на кого-то, была теперь женой вольного шофера Степы Гусева. Это был на редкость счастливый брак. Просто весело глядеть было на них. Степан, уникальный образец непьющего колымского водителя, приезжал из рейса с центральной трассы трезвый как стеклышко, кричал на весь коридор: «Клавдею мою не видали?» И волок ей то мороженую рыбу-каталку, то огромный кус оленины. А Клава, не ведая усталости, сразу после работы принималась варить, стирать, скоблить полы, чтобы Степочка, спаси Бог, не испытал какого неудобства. В комнате у них были коврики, салфеточки, диванные подушечки на все темы: лебеди, кошечки, девы-русалки, охотники за оленями. Пышная постель была оторочена снизу кружевным «подзором», связанным Клавой в выходные дни из шпупелечных ниток. Одно только угнетало Клаву — социальное неравенство.

— Пойми, Женя, — откровенничала она со мной во время совместной стирки на общей кухне, — пойми, не ровня я ему. Анкета у него больно чистая. Отец — партийный, мать — депутат райсовета. Ну как я к им явлюсь? Бывшая . . . Пораженка . . . Страм один . . .

Степан, действительно, был что называется знатным человеком. Шоферов без судимости на Колыме было раз-два и обчелся. И Степан уже года два, как попался в зубы областных газетчиков, и о нем строчили очерки насчет покорителей таежных просторов.

— Пойдем самые первые, — горячо шептала Клава. — Первых-то обязательно ведь на карточку снимают и в газете потом пропечатывают. Вот я тот снимок и возьму с собой, когда на материк к Степиным родителям поедем. Вот, мол, и мы не какие-нибудь, и о нас в газетах пишут . . .

И так сияло ее миловидное доброе лицо, так она гордилась своей хитрой выдумкой, что у меня язык не повернулся сказать ей, что в редакции есть специальное бюро проверки — чтобы не попадали по недосмотру бывшие заключенные ни в качестве авторов, ни в качестве героев. Согласилась я ради семейного счастья избирательницы Фирсовой встать среди ночи.

Антон в ту ночь дежурил в больнице. Покоритель таежных просторов Степан был в рейсе. Мы с Клавой бежали, как гончие, в студеной тьме нашего пустыря. Бояться, впрочем, было нечего: милиционеры в предвыборную ночь ходили по пустырю косяками.

И мы первыми опустили свои бюллетени. И — о счастье! — фотокор снял-таки Клаву и записал ее фамилию и место работы. Домой она шла тихая, умиленная и все твердила: «Хорошо-то как! Ровно от заутрени!»

Тем сильнее было разочарование, когда на другой день Клава прочла в газете, что первой на нашем участке подала свой голос за блок коммунистов и беспартийных товарищ Козихина Тамара Васильевна, работница комбината бытового обслуживания. Тут же был портрет Козихиной. Она опускала бюллетень в урну и улыбалась голливудской улыбкой.

— Какая же она первая! — с детским отчаянием восклицала Клава. — Тамарка-парикмахерша! Помнишь, мы уж отголосили, назад шли, а она нам в дверях попалась. Еще боты сняла, снег вытряхала. Зачем же врать-то! Как сивые мерины . . . А еще писатели . . . Нет, видно, нету правды на земле . . .

Было и трогательно и смешно, что эта женщина, отбывшая восемь лет за недонесение о чем-то, чего она к тому же и не слыхала, только теперь, вернувшись в семью трудящихся, открыла ложь и запыхалась негодованием.

— А что же! Там-то я думала, может, ошиблись, обмишулились, и впрямь подумали на меня . . . А тут-то . . . Выкатил свои бесстыжие зенки и врет, и врет. А люди читают, думают — правда. Газета ведь распечатала. Как не поверить . . .

Вечером тихая Клава вырвала из рук своего Степы газету и с плачем повалилась прямо на царственную их постель, смятая накрахмаленный «подзор».

— Не гляди, говорит, на эту падлу, — смущенно рассказывал Степа. — Тамарка-парикмахерша там снята. Голосует с утра пораньше. Да мне, говорю, нужна эта Тамарка, как вороне — физика. Лыбится эта Тамарка, как майская роза, выпендривается около урны. На что она мне? Уж не захворала ли Клавдея? Никогда так не ревела, никогда не ревновала меня.

— Это не ревность, — сказала я Степану. — Это зависть к Тамаркиному общественному положению, к ее полноправию. И обида на вранье журналиста. На самом-то деле не Тамара, а Клава голосовала первая.

— Ох и дуреха же Клавдея моя, — ласково резюмировал непьющий чудо-шофер. — Нашла, чему завидовать! Не знай чего завтра с той же Тамаркой будет. У нас ведь это по диалектике: нынче выдвигенка, завтра — поселенка . . .

Диалектики в социальном строе нашей дальней планеты действительно было хоть отбавляй! Существовали у нас даже поселенцы-коммунисты, не исключенные из партии. Это были все члены партии немецкой национальности. Не исключаясь из рядов, они ходили дважды в месяц в комендатуру «на отметку», владели вместо паспорта справкой, аналогичной моей, не имели права выезжать с места поселения дальше чем за семь километров. Иногда явки в комендатуру совпадали с партсобраниями, и партийные немцы, отстояв длинную очередь, чтобы пришлопнуть

штамп к своему виду на жительство, торопились на партийное собрание, где единодушно голосовали за повышение большевистской бдительности ввиду обострения классовой борьбы по мере нашего продвижения к коммунизму.

Старик наш, Яков Михалыч, у которого после отъезда Васи и прекращения уроков математики стало больше времени, даже схему составил — социальное и политическое устройство Колымы. По этой схеме тут насчитывалось не меньше десятка сословий. Ээка, бывшие ээка с поражением и бывшие без поражения, ссыльные на срок, поселенцы на срок и ссыльнопоселенцы пожизненные, спецпоселенцы-срочники и спецпоселенцы-бессрочники. Здание увенчивали немцы — поселенцы-партийцы.

Озаглавил он свою схему «Тернистый путь к бесклассовому обществу». Все смеялись, подшучивали над стариком, знали, мол, его как врача, как философа, как поэта и математика. А теперь, выходит, — он еще и социолог.

А было это все за неделю до его смерти. В последний раз мы видели его, как всегда, в воскресенье. По воскресеньям мы устраивали традиционный обед для тех наших ссыльных друзей, кто жил здесь одиноко. Приходил обычно Юрий Константинович Милонов, старый большевик не то с двенадцатого, не то с тринадцатого года. Приходил Александр Мильчаков, бывший секретарь ЦК комсомола. Приходил мой знакомый по Казани Тахави Аюпов, бывший секретарь Татарского ЦИКа. А уж Яков Михалыч не пропускал ни одного воскресенья.

В этот последний свой визит он был весел, оживлен, несколько раз повторял свое излюбленное пророчество: «Подождите, мы все еще будем носить жетон «Политкаторжанин» . . . И еще: «Неужели я не прочту ЕГО некролог? Мы с НИМ ровесники. Но я все-таки надеюсь. Я ведь тут живу на свежем воздухе и соблюдаю диету, а ОН наверняка обжирается. Кроме того, у меня меньше волнений, чем у НЕГО. Мне ведь нечего терять, и врагов у меня совсем нет» . . .

Только вечером этого воскресенья, когда мы с Антоном пошли его провожать, он вдруг сказал со сдержанной тоской: «Как вы думаете: неужели это возможно, чтобы моя Лизочка забыла меня?» Это была его незаживающая рана. Дочери не писали ему, боялись связи с «врагом народа». А он, отказывая себе во всем, откладывал какие-то гроши на сберкнижку, чтобы они знали: папа думал о них.

Ровно через неделю, в субботу, прибежала Татьяна Симорина и взволнованно сказала: «Идите в морг. Он там».

Лежал он очень спокойный, помолодевший, даже какой-то величественный. Это был тот самый морг вольной больницы, где Яков Михалыч несколько лет работал патологоанатомом, и два прозектора из бывших бытовиков стояли рядом с его телом, насупленные и побледневшие. Они приколотили к лацкану стариковского пиджака искусственную, но хорошо сделанную гвоздику. И я вспомнила про жетон «Политкаторжанин».

Похоронили мы его хорошо. И место возвышенное, и плиту поставили, и ограду. И письмо я написала Лизочке и Сусанне, в котором не только указала номер завешанной им сберкнижки, но и подробно рассказала, каким человеком был их отец. Только про его страдания, связанные с дочерьми, про то, как ранило его их молчание, — умолчала. Многие наши советовали немного намекнуть на этот вопрос, чтобы они хоть задним числом поняли свою жестокость. Но я не согласилась. Вовсе не жестокость это была, а все тот же великий Страх. И если уж бывшие трибуны, вожди и проповедники приняли участие в дьявольском спектакле, выполнив все требования режиссера Вышинского, то что было взять с двух

несчастных обывательниц, затюканных бдительными шепотами коммунальной кухни.

И я оказалась права. В минуту острого горя образ любимого отца вытеснил на короткое время все великие страхи. Мы получили сердечное письмо, начинавшееся словами: «Незнакомые друзья, стоявшие у гроба нашего дорогого отца! За вашу доброту вам заплатит Бог . . .»

Вся наша ссыльная колония оплакивала Якова Михалыча. После его смерти объявилась масса народа, неизвестного нам, но связанного со стариком какими-нибудь его услугами. Тому он денег давал, того лечил, этому правил рукопись, этому делал переводы . . . Были среди этих людей и недостойные, эксплуатировавшие рассеянность, самоуглубленность и абсолютную житейскую беспомощность чудака-доктора.

Именно его именем («Я к вам от покойного доктора Уманского») и открыл впервые нашу дверь человек, принесший нам много горя, наследивший в нашей чистенькой комнатенке омерзительными грязными пятнами провокации. Впрочем, ведь неизвестно, правда ли, что Яков Михалыч как раз незадолго до своей смерти собирался познакомиться нас с инженером Кривошеем. Может быть, ссылка на покойника была всего удобнее, чтобы проникнуть в наш дом, войти к нам в доверие.

Инженер Кривошей представился нам как политический, только что вышедший из лагеря. Это была первая ложь. Позднее выяснилось, что он бытовик, сидевший не то за растрату, не то за халатность. Кроме того, он представился как больной, только что перенесший тяжелую операцию и нуждающийся в помощи Антона. (Операционный шов был тут же предьявлен.) Но больше всего доверие к новому знакомому вызывала его образованность, причем образованность гуманитарная, не имеющая прямого отношения к его инженерной профессии. Он любил и знал поэзию, читал наизусть Блока, Ахматову, Пастернака. Он оригинально и свежо высказывался по вопросам политики, экономики, истории. Помню, как интересно было слушать изложение полузабытых страниц Ключевского, Соловьева. Говорил он, правда, несколько вычурно и архаично по стилю, но это как раз очень укладывалось в образ старого потомственного интеллигента-петербуржца, каким он рекомендовался.

Помаленьку он стал у нас завсегдатаем, заняв за нашим воскресным столом опустевшее место Якова Михалыча. Всем новый знакомый понравился. Все снисходительно смотрели на то, что он оказался неистощимым говоруном. Ведь рассказы его были интересны. Было у него несколько отработанных устных новелл, которые он охотно, под общий веселый смех, повторял на бис. Коронным номером среди этих новелл был так называемый «Монолог Уоллеса».

История о том, как американский путешественник Уоллес умудрился проехать по Колыме и увидеть только те «потемкинские деревни», которые ему решило показать начальство, всем была хорошо известна. Но Кривошей произносил свой «Монолог Уоллеса», так здорово имитируя английский акцент и мимику дальнозорного путешественника, что старая история расцвечивалась новыми красками.

«Рослые здоровые парни из центральной России решили покорить этот дикий край», — говорил Кривошей от имени Уоллеса, а от своего вполголоса и «в сторону» комментировал: «Три взвода отборной вохры, переодетые в рабочие комбинезоны американского производства . . .» И опять — от Уоллеса: «Пионеры прогресса . . . Основатели новых городов . . .» Потом про женщин: «Долгими зимними вечерами женщины и девушки охотно собирались и предавались искусству вышивки гобеленов. Это старорусское искусство — гобеленштрикерай» . . . И «в сторону»:



«Это был переодетый в приличные кофточки заключенный вышивальный цех, где над этой «штрикерай» слепли наши женщины».

В промежутках между кусками «Монолог Уоллеса» Кривошей изображал интермедию: вроде бы он рассказывает все это колымской шоферне, а та гогочет и похваливает американцев и за то, что лопоухие, и за то главное, что привозят антифриз — средство против замораживания двигателей автомобилей. Это средство наши отважные водители потребляли под закуску из морзверя, несмотря на то, что на посуде с антифризом наклеены этикетки по-русски и по-английски — «ЯД!» Это, мол, жидконогому американцу — смерть, а нашему брату — час без горя!

Итак, Кривошей стал у нас душой общества. Только иногда мы с Антоном удивлялись, обращая внимание на то, что обаяние нашего нового знакомца сразу исчезает, как только он замолкает. Тогда вдруг замечаешь, как плотно он сжимает свои извилистые жабьи губы. И глаза его за очками выглядят тогда как-то уклончиво. Он умеет уводить их в сторону и не попадать ими в глаза собеседника.

Впрочем, наверно, все это мы вспомнили уже потом, когда узнали, кто он. А тогда если и были какие-то сомнения, то они окончательно рассеялись после того, как мы побывали у него в гостях и увидели его семиметровую клетушку, битком набитую книгами. Стеллажи шли до самого потолка. Кроме книг в конурке были только две табуретки и тумбочка, на которой он ел и писал. Раскладушка стояла в коридоре за дверью и раскладывалась только на ночь.

И каких только редкостных лаковых кусков не было на этих грубо сколоченных полках! «Цветы зла» Бодлера. Полный Гете по-немецки. Несколько комплектов журнала «Вестник Европы» за начальные годы нашего века. Альманахи «Весы» и «Шиповник» . . . Да разве перечислишь . . . У меня просто сердце заколотилось, когда хозяин торжественным тоном объявил, что хотя он никому своих книг не дает, но для нас делает исключение, и мы можем хоть сейчас выбрать по две книги на человека. Он видит, что для нас книга не меньшее сокровище, чем для него, и что мы будем возвращать их аккуратно.

Захлебываясь, рассказывал он историю отдельных книг. Вот эту он выменял еще в лагере на две пайки хлеба. А эти остались после смерти одного поселенца — его друга в глухом таежном поселке. А эти, представьте, куплены на магаданской барахолке. Лежали рядом с крабами в заднем ряду . . .

От азарта у него даже руки тряслись. Ревнивая жадность, с какой он следил за нашими движениями, когда мы брали с полки какой-нибудь томик, изобличала в нем настоящего библиофила, точнее — библиомана. А разве это можно совместить с чем-нибудь плохим? Человек, выменявший в лагере пайку хлеба на книгу, не может быть дурным человеком.

А оказалось, что может. Но это обнаружилось позднее, уже к началу пятьдесят третьего года. А весь пятьдесят второй мы с инженером Кривошеем были закадычными друзьями, охотно цитировали его острые словечки, с упоением слушали его устные новеллы и с глубокой благодарностью пользовались его уникальной библиотекой. В этот бесспорный год, когда вести с материка становились все более зловещими, а газеты все более неистовыми, мы просто душу отводили в беседах с нашим просвещенным другом. Я, как по нотам, разыгрывала популярную песенку: «Ходит птичка весело по тропинке бедствий, не предвидя от сего никаких последствий».

К новому, 1953 году Кривошей подарил каждому из нас по книге. Мне — томик стихов Ахматовой в дореволюционном издании, Антону —

учебник терапии Зеленина, а Тоне — отлично изданный сборник сказок Чуковского. Третьему подарку мы особенно обрадовались. Дело в том, что наш новый друг любил животных, но не любил детей. Каждый раз, приходя к нам, он брал на руки кошку Агафью и нежил ее в течение всего визита. На Тоню же он обычно не обращал ни малейшего внимания, никогда не улыбался ей и даже досадливо морщился, когда она своими вопросами отвлекала меня от беседы с гостем. Однажды я даже спросила его, почему он так неприветлив с ребенком. Он с чистосердечными интонациями объяснил: жизнь начисто выбила из его души то чувство умиленности, которое неизбежно требуется для общения с детьми. Лицемерить он не может. Кроме того, он так мрачно смотрит на будущее нашей цивилизации, что просто поражается людям, решающим бросать в этот хаос новых несчастных.

Эти рассуждения нас огорчали. Когда он смотрел сквозь Тоню, как сквозь пустое место, нам казалось, что это как-то не укладывается в созданный нами образ тонко мыслящего и чувствующего человека. Тем более мы обрадовались, когда он улыбнулся Тоне и протянул ей томик сказок Чуковского.

Почти все эти сказки я помнила наизусть и часто читала детям в детском саду, где книг Чуковского совсем не было. Но сейчас, чтобы доставить Кривошею удовольствие, я тут же начала читать их вслух, перелистывая красивые лакированные страницы. И тут мы наткнулись на «Тараканище», которого, конечно, знали и прежде, но как-то не осмысливали. Я прочла: «Вот и стал Таракан победителем, и лесов и морей повелителем. Поко-рились звери усатому, чтоб ему провалиться, проклятому . . .» И вдруг всех нас поразил второй смысл стиха. Я засмеялась. Одновременно засмеялся и Антон. Зато Кривошей стал вдруг необычайно серьезен. Стекла его очков переблеснулись рассыпчатыми искрами.

— Что вы подумали? — с необычайным волнением воскликнул он. — Неужели . . . Неужели Чуковский осмелился?

Вместо ответа я многозначительно прочла дальше: «А он меж зверями похаживает, золоченое брюхо поглаживает . . . Принесите-ка мне, звери, ваших детушек, я сегодня их за ужином скушаю . . .»

— Неужели Чуковский осмелился? — с каким-то просто невиданным возбуждением повторял Кривошей.

Я не замедлила ответить. (Птичка весело продолжала свой путь по тропинке бедствий!)

— Не знаю, хотел ли этого Чуковский. Наверно, нет. Но объективно только так и выходит! Вот послушайте, как реагировали звери: «И сидят и дрожат под кусточками, за зелеными прячутся кочками. Только и видно, как уши дрожат, только и слышно, как зубы стучат . . .» Или вот это: «Волки от испуга скушали друг друга» . . .

Кривошей, ни на минуту не останавливаясь, ходил по комнате. Он потирал руки, так крепко сжимая пальцы, что они белели.

— Блестящая политическая сатира! Не может быть, чтобы никто не заметил . . . Просто каждый боится сказать, что ему в голову могло прийти такое . . . Такое . . .

После ухода гостя Антон недовольно сказал:

— Какой-то осадок у меня остался. И чего он так взвинтился? Не надо бы про Тараканище-то . . . Не хватает нам еще дела об оскорблении величества. Да нет, Кривошей-то, конечно, никому не скажет, но вообще . . . Давай договоримся: больше никому про это ни слова.

Призывы к осторожности со стороны бесшабашного в смысле свободы высказываний Антона произвели на меня впечатление. И больше никому, ни одной душе, я не высказала соображений по поводу Тараканища.

. . . Наступил 1953 год. В моем теперешнем детском саду его встретили пышной елкой, которая удалась на славу и за которую мне объявили благодарность в приказе.

Однако ровно через два дня после благодарности меня внезапно и без всякого объяснения причин сняли с работы. Заведующая, которая за год до этого так энергично боролась за меня, вела себя как-то странно. Старалась не встречаться со мной глазами, произносила отрывистые загадочные слова насчет того, что тут, мол, замешан спецсектор. Видно было, что она что-то знает и это «что-то» обрекает меня на гибель. Она говорила со мной так, как говорят родственники с раковыми больными, не знающими своего диагноза. Желала здоровья. Даже промямлила словечко о будущем годе. Дескать, самое главное, чтобы прошло какое-то время. . . А там. . .

На другой день пришел выразить мне свое соболезнование наш приятель инженер Кривошей. Антона и Тони не было дома. Визитер уселся у стола. Кошка Агафья сладострастно замурлыкала, устраиваясь у него на коленях. А он начал огорченным голосом упрекать меня в излишней доверчивости. Вот, например, наш приятель Милонов. . . Кривошей сам на днях видел, как тот выходил поздно вечером из Белого дома. Что бы ему там делать?

— Что вы говорите! — возмущенно воскликнула я. — Как же тогда жить, если подозревать в предательстве самых близких друзей! Мы знаем Милонова. . . Он честный человек. . .

Кривошей странно усмехнулся. И мне почему-то вдруг стало страшно. Нет, я еще не допускала мысли о том, кто подлинный предатель, затесавшийся в наш дом. Но в этот момент я как бы впервые заметила, что его лицо надежно скрыто маской, из-под которой время от времени прорывается подлинный взгляд, непритворная гримаса, очень далекая от того внутреннего мира, который мы ему сочинили. Это была еще не догадка, но первое предчувствие близкой догадки.

Гость собирался уже уходить, когда в комнату вошел, нет, не вошел, а вбежал Антон. На нем лица не было. Давно я не видела его таким взволнованным. Еле кивнув Кривошею, он отрывисто бросил мне:

— Выйдем на минутку в коридор. . .

Это было так не похоже на его обычную вежливость, что я сразу поняла: то, что он сейчас скажет мне, будет относиться именно к этому неистощимому говоруну, знатоку отечественной литературы и страстному любителю животных.

— Что? — спросила я, уже предвидя ответ.

— Это он! Тебя сняли с работы по его доносу. Он сообщил про чтение «Тараканища» и про твои комментарии.

Одна из медсестер, работавших с Антоном в поликлинике, взяв с него клятву, что он никогда никому не заикнется об этом разговоре, плача, воскликнула: «Боже мой! Что теперь с вами обоими будет! Что же это ваша Евгения натворила! Назвала товарища Сталина — пауком!»

Так говорили у них на закрытом партсобрании. И соответственно обьяснили, что за подобное оскорбление божества воздзаста.

Холодея, я выслушала Антона до конца. Механизм происшествия мне был теперь совершенно ясен. Никто, ни одна душа на свете, кроме Кривошей, не слышал моих дерзновенных догадок насчет Тараканища. Ну а путаница с насекомыми объяснялась, по-видимому, недостаточной начитанностью инстанций Белого дома, а также неосознанными подкорковыми процессами, подсунувшими вместо гротескового, отчасти даже комичного Таракана реального, зловещего и совсем не смешного Паука-кровососа.

— Дай доносчику по физиономии и выгони его за дверь! — потребовала я.

— Это всегда успеется. Никогда нельзя сразу показывать провокатору, что он раскрыт. Последим за ним несколько дней. Предупредим других...

Такая удивительная рассудительность вспыльчивого Антона объяснялась, как он рассказал мне потом, тем, что на улице, около нашего барака, он заметил, входя, несколько миллионеров, круживших тут из-за скандала в одной из комнат, где жили шоферы. Кривошей мог тут же броситься за помощью к правосудию и тем ускорить ход событий.

Так или иначе, но мы вернулись в нашу комнату, где все в той же идилической позе, с кошкой Агафьей на коленях, сидел как ни в чем не бывало наш желанный гость.

Я не в силах была смотреть на него и без всяких обиняков юркнула за ширму, где у нас на тумбочке стояла электроплитка и вообще было подобие кухни. Там я сразу начала судорожно чистить картошку, прислушиваясь к тому, как выйдет из положения Антон.

— Евгения Семеновна слишком остро реагирует, — ласково, как с больным, заговорил Кривошей. — Ведь уже все бывало. Пройдет и на этот раз.

— Н-да... — отвечал Антон, нетерпеливо постукивая пальцами по столу.

— Я уж тут до вашего прихода говорил, что надо быть более разборчивой и, пожалуй, даже недоверчивой в выборе знакомых, — продолжал наш гость эпическим тоном, глядя кошку двумя пальцами по передним лапкам.

— У-гу... — почти прорычал Антон. — Святая правда!

К счастью, беседа длилась недолго. Постучался кто-то из соседей и завел с Антоном разговор о своих болезнях. Кривошею представилась, таким образом, возможность вполне благопристойно закруглить свой визит. Он, пожалуй, пойдет, не будет мешать больному беседовать с врачом. Видно, у него был принцип «Чем наглее — тем правдоподобнее», потому что он не преминул заглянуть ко мне за ширму, чтобы еще раз настоятельно порекомендовать мне «экономить нервы». На прощанье он протянул мне руку.

— Извините, руки грязные, — двусмысленно сказала я, пряча свои — за спину.

Но понимать намеки — не входило в его методику. Он ласково улыбнулся и, не растерявшись, просто приветственно помахал своей повисшей в воздухе рукой.

Вечером (терять уже было нечего!) я снова читала Тоне вслух «Тараканище».

Бедные, бедные звери!  
Плачут, рыдают, режут...  
В каждой берлоге и в каждой пещере  
злого обжору клянут...

Глава четырнадцатая

## ДВЕНАДЦАТЫЙ ЧАС

А на другой день, с утра, развернув газету, я увидела сообщение о деле врачей — убийц в белых халатах.

То, что последовало за этим, было до сих пор неслышанно на Колыме.

Впервые на нашу дальнюю планету проникла эта отрава. До тех пор мы были в глазах начальства единым массивом. Нас терзали на основе полного национального равенства, не выделяя из общей мученической среды, так сказать, ни эллина, ни иудея. Даже космополитская кампания сорок девятого года прошла как-то стороной от нас. В это время нашему начальству было не до того: свои, специфические дела вытесняли эти, общесоюзные. И так все запарились с массовыми повторными арестами, с назначением ссылок и вечных поселений, с расширением числа комендатур . . . Да мало ли . . .

А о нашем обществе заключенных и ссыльных в этом плане и говорить было нечего. Ведь среди нас преобладали комсомольцы двадцатых и тридцатых годов, надежно законсервированные в идеях и категориях своей юности. Мы просто и понятия не имели о том, как за время нашего за그рбного существования здорово окрепла там, на материке, дружба народов.

Итак, в этом отношении Колыма позорно отставала. Только сейчас, в пятьдесят третьем, здесь спохватились и начали «регулировать национальный состав». Начальник сануправления Щербаков, — человек, безусловно, незлой и неглупый, — точно неожиданно сойдя с ума, метался по больничному двору, восклицая: «А Горин — не еврей? А Вальтер — не еврей? А кто здесь вообще еврей?»

— Хоть запрашивай из Германии справку о расовой чистоте, — мрачно острил Антон.

Шутка имела под собой некоторое реальное основание: через новых заключенных, прошедших плен, Антон узнал по каким-то каналам о судьбе своего брата, оказавшегося вместе с фольксдойчами в Германии. Там его подвергли «расовому обследованию», после чего он получил справку, что в роду Вальтеров до пятого колена были все сплошные чистокровные тевтоны.

Но Антону тевтонство не помогло. С работы его тоже сняли. Правда, начальник отдела кадров Подушкин благосклонно выслушал сообщение Антона о том, что он не еврей.

— Никто вас в ЭТОМ не обвиняет, — беспристрастно отверг ложное ОБВИНЕНИЕ начальник. — Зато вас можно обвинить в другом . . .

И сделал несколько прозрачных намеков на манеру распускать язык, на участие в контрреволюционной болтовне. Конечно, смешно было надеяться, что наш друг Кривошей скроет от Белого дома участие Антона в той беседе о творчестве Корнея Чуковского.

— Вот так-то, — заключил начальник кадров, — впрочем, увольняетесь вы по сокращению штатов.

Так или иначе, к началу февраля пятьдесят третьего года мы оба были безнадежно безработными. Для полноты картины и Тоню отчислили из детского сада.

— Это потому, что ты, мамочка, не работаешь. Марья Ивановна сказала, что у тебя теперь есть время за мной ухаживать.

Да, времени вдруг объявилось сколько угодно. Но кормить Тоню так сытно и хорошо, как кормили ее в детском саду, скоро стало не на что.

Когда годами живешь без чувства будущего, без ощущения реальности завтрашнего дня, то начисто выветривается из сознания самая идея запаса, накопления. Ведь были периоды, когда мы хорошо зарабатывали. Могли бы скопить на так называемый черный день. Но когда все дни — черные, то об этом как-то не думаешь. Теперь мы сами удивлялись, куда ушли все деньги и почему мы сразу сели на мель.

Друзья, понятно, приходили на помощь. Присылали нам опять каких-то частных учеников, частных пациентов. Мы учили и лечили их вроде как во

сне, почти механически. Потому что теперь ощущение обреченности, предчувствие окончательной катастрофы дошло до самой высокой точки. Мы понимали, что теперь дело опять перешло на другой счет: на масштабы дней, часов, а может быть, и минут. Мощная радиация, идущая от Белого дома, пронизывала нас насквозь. И день и ночь мы ждали теперь третьего ареста.

Я испытываю неловкость перед читателем. Однообразно! Опять ожидание ареста? Опять ночные кошмары?

Но тот, кто сам пережил это болезненное напряжение всех нервов, этот комплекс утки, настигаемой охотником, тот меня не осудит. Тот знает, насколько второй арест страшнее первого, а третий — насколько он страшней второго! Ведь первый круг вспоминается как сущий рай, когда ты добредаешь до круга седьмого.

А февраль пятьдесят третьего был таким вьюжным. Так стонали и выли родимые скифские метели за нашим бессонным окном. И почему-то они все время выпевали идиотское двустипное из какого-то газетного стишка, посвященного делу врачей-убийц: «И гадючья рука не смогла ранить гордое сердце орла...»

Ах, нет ведь у гадюки рук! Именно вот то и страшно, что без рук... Вся изовьется и безошибочно вонзится жалом в самое сердце. В гордо-го-то орла вряд ли попадет, а вот в мое...

Шаги в коридоре! Он у нас такой длинный! Пятнадцать комнат с одной стороны и пятнадцать — с другой. И в любой комнате слышен каждый звук из коридора. Шаги... Они! Сжимаюсь вся вплоть до пальцев на ногах. Не дамся! Больше не дамся! Хватит!

А что сделаю? Очень просто — умру. А сумею? Конечно! Она придет, если страстно пожелать. Если нисколько не пожелать расставанья с этими земными туманами, с этими певучими метелями. Если с легким сердцем отдаться в руки смерти. Ведь только она может отпустить меня на свободу. И главное — она погасит память. Я обессилена настолько, что не могу больше выносить не только ожидания новых мук, но даже памяти об уже пройденных.

Антон хочет вывести меня из оцепенения, из унижительной неподвижности кролика, застывшего под взглядом удава. Он предлагает мне энергично взяться за приведение в порядок наших дел. Каких дел? А вещи? Зачем, чтобы они достались Белому дому? У нас ведь дети...

Он, конечно, прав. И мы развиваем бешеную деятельность по ликвидации имущества. У нас ведь есть такая ценная вещь, как пианино. Мы перетаскиваем его в комнату Степы и Клавы Гусевых. Они выкладывают нам шесть тысяч наличными. При этом Степа басит, что, мол, продажа условная и что как только все у нас утрясется, — а так, наверное, и будет, — он сейчас же прикатит наше пианино обратно, благо живем-то дверь в дверь.

Клава на этот раз мыслит трезвее мужа. Она качает головой, сморкается в фартук и обещает приносить нам передачи.

При помощи практичной Юли мы довольно выгодно провели дешевую распродажу имущества и выручили немалую сумму — одиннадцать тысяч. Половину из них выслала Ваське. «Положи на книжку и начинай расходовать только тогда, когда точно узнаешь, что меня больше нет». Так я писала на бланке перевода. В те времена Васино высшее образование еще было для меня нерушимым фетишем. Если Вася будет вынужден бросить институт — это будет почти такое же страшное несчастье, как моя собственная гибель. Глаза бы выцарапала всякому, кто сказал бы мне, что Васька не воспользуется своим медицинским дипломом и что жизнь его пойдет совсем стороной от этого института. Это во мне бурлила кровь

моих неведомых дедов и бабок. Тех самых, что готовы были обходиться без супа, лишь бы вырастить ученых детей.

Хуже всего обстояло дело с Тоней. Страшно было подумать, что она снова окажется в детдоме, теперь, после того, как узнала домашнюю жизнь с папой и мамой. Наше нынешнее странное поведение ей очень нравилось: никто никуда не спешил, никто не ходил на работу. Она просыпалась веселая, пела в кровати, хлопала в ладоши, кричала: «Папа дома! Мама дома!»

Я грызла себя раскаянием: разве можно было связывать ребенка с моей жизнью, в которой хозяйничают демоны! Это был чистейший эгоизм с моей стороны! Мне нужна была замена Алеши. Нет, не замена. Его не может заменить никто, даже Вася. Не замена, а постоянное напоминание о нем. Но не рвущее на части, а примиренное напоминание . . . И вот теперь . . .

Немного отлегло от сердца, когда получили из Казахстана письмо от Антоновых сестер, живших там на поселении. Они писали, что согласны принять девочку (которую считали нашей родной), если с нами, не дай Бог, что случится. Оказалось, что потихоньку от меня Антон писал им об этом. Юля дала слово — сразу же отправить ребенка туда с кем-нибудь из надежных вольняшек, едущих на материк.

Итак, все было сделано, предусмотрено. Оставалось ждать. И мы ждали. Ждали и наши друзья. Встречая нас на улице, они радовались: ходят еще! Приходя к нам, они сначала стучались к Гусевым, чтобы узнать, не опечатана ли наша комната. Мы не обижались. Ведь и сами мы были парализованы страхом. Везде нам грезились стукачи или люди из Белого дома. Обжегшись на любителя поэзии, Кривошее, мы теперь с подозрением относились ко всякому незнакомому человеку.

Помню, как мы испугались, когда к нам явился неизвестный парень, назвавшийся дальним родственником доктора Чернова, вольного сослуживца Антона. Чернов незадолго до этого уехал на материк. Нам показалось ужасно подозрительным, что наш визитер, только что, по его словам, приехавший с Большой земли, был как две капли воды похож на лагерника. Резкие острые скулы, обтянутые сухой шелушащейся кожей. Куцый бушлатик. Сбитые бурки из солдатского сукна. Обтрепанный малахай. Все это напоминало знакомые таежные типы. Только гораздо позднее мы, не видевшие военной России, узнали, что в те годы, «сороковые, роковые», такой облик был обычен для наших городов и поселков. К тому же Глеб — так звали парня — был беглецом из колхоза, скитавшимся в бегах два года. Выход из мытарств он нашел в конторе Дальстроя, где его завербовали на колымский прииск экскаваторщиком. Нужда в рабочих этой профессии была так велика, что отдел кадров закрыл глаза на подмоченную анкету Глеба.

От постоянного страха перед карающей десницей, от недоедания и скитальческой жизни в глазах Глеба то и дело вспыхивал какой-то звериный огонек. Не то, чтобы волчий, но примерно как у бездомного пса, окруженного преследователями. Но губы были мягкие, немного отвислые. Они обличали жалостливый характер. Ел Глеб с истовостью человека, знающего цену пище. За третьей кружкой чая он отошел от первоначального смущения, расстегнул пиджак и начал очень реалистично рассказывать о жизни в колхозах.

— Говорю вам все открыто, потому как сказано мне, что вы — свои люди . . .

Мы переглядываемся. Свои люди . . . это выражение очень любил употреблять наш друг Кривошей. Да и сживал он, бывало, за столом на

том же месте, где сидит сейчас этот Глеб. Так же радушно мы его потчевали. И пошел тут у нас странный диалог.

**Глеб.** Как стали ребята пухнуть с голоду, так и решился я. Пойду, думаю, хоть копейку какую раздобуду да вышлю им. Сил нет смотреть . . .

**Мы** (после паузы, глаза опущены, голоса автоматические). У вас много детей?

**Глеб** (еще не замечая нашего испуга). Трое . . . Баба всю войну батрачила, пока я воевал. А теперь начальство-то вместо спасибо . . .

**Мы** (с грустными интонациями неопытных лжецов). Где же вы тут остановились в Магадане?

Я пишу об этой случайной встрече так подробно, чтобы показать, до каких пределов мы дошли в этом бреде преследования. Я уже ясно видела, как в очередных протоколах Белого дома рядом со строчками о «Тараканище» ложатся отличные формулировки насчет опорочивания колхозного строя. На какие-то мгновения я почти не сомневалась, что этот Глеб послан к нам как подкрепление к показаниям Кривошея. А между тем только при полной нашей затравленности можно было принять этого вековечного бедолагу из села Неелова-Горелова за провокатора, усмотреть нечто двусмысленное, нарочитое в его простодушных сетованиях на судьбу.

Вот какой мрак мы допустили в свои сердца! Все это чаепитие с Глебом осталось навсегда в моей памяти как одно из позорных воспоминаний. Я и сегодня краснею, когда передо мной всплывает это лицо с горьким недоумением в глазах. Он, наверно, мысленно сопоставлял то хорошее, что говорил ему о нас доктор Чернов, с тем, что он нашел у нас сегодня.

— Извиняйте, если что не так, — забормотал он, вставая из-за стола. — Я, вишь ты, попросту . . . Потому мне сказывали, что . . .

Когда он ушел, мы поссорились из-за какой-то чепухи. Потом я заплакала и сказала:

— Ничтожная козявка я, вот кто . . .

— Главное, какой им смысл сейчас подсылать к нам еще кого-то! Ведь материала против нас у них и так предостаточно, — сказал Антон и добавил: — Пойдем гулять!

Мы всегда шли гулять, когда становилось уж совсем невыносимо. В любую погоду выходили из дому — что нам буран или снегопад! Скитались по городу, забредая то в Марчекан, то под Круглую Сопку. Наградой таких походов было полное физическое истощение. Изнемогшие, мы потом засыпали, хоть ненадолго, пусть даже со страшными сновидениями. Лишь бы заснуть!

Впрочем, с Антоном такие эпизоды, как прием Глеба, случались реже, чем со мной. Главное — он оставался добрым, не отказывался в любое время суток бежать к больному, который позвал его. Временами на него находило какое-то веселое отчаяние гибели. Он начинал шутить, рассказывать анекдоты, звать меня в кино.

— Пойдем! По крайней мере два часа полного покоя. В кино-то уж ни за что не будут они нас хватать. Не захотят поднимать шум.

И мы часто ходили в кино. Сидели, взявшись за руки, ободренные тем, что в устремленных на нас взглядах людей не было ни страха, ни жестокости. Одно любопытство. Ведь весь город знал немецкого доктора. Все знали, что он сейчас снят с работы. И почти все — вплоть до больших начальников — были недовольны этим. Он был нужен им всем.

В последний день февраля в «Горняке» шел какой-то итальянский фильм.

— Пойду за билетами, — сказал Антон и ушел, оставив меня с ученицей. Я репетировала девочку-двоечницу по русскому.



И вдруг раздался стук в дверь. Тот самый. Которого мы ждали. Я сразу, шестым чувством, поняла это.

— Что с вами? — воскликнула тринадцатилетняя двоечница. Потом она говорила мне, что я стала белее стены.

Не дожидаясь ответа на стук, он отворил дверь. Властным движением белого фетрового сапога пнул ее — и она безропотно раскрылась. Это был некто в штатском. Выдавали его только фирменные фетровые сапоги и еще канты высокого военного воротничка, выпиравшие из-под мехового воротника пальто. Да все равно! Будь он хоть в королевской мантии или в костюме мушкетера, я признала бы его с первого взгляда. Оттуда!

— Где Вальтер? — спросил он, не здороваясь. Тем самым голосом. С теми самыми интонациями. Бутырско-лубянскими... Эльгенско-васьковскими...

— Не знаю...

— Как, тоись, не знаешь? Ведь он вам муж...

— Он не сказал куда... Может быть, к больному...

— К какому еще больному, когда уж месяц с работы снят...

Мной лично он как будто не интересовался. Зато внимательно осматривал жильё. Прошел хозяйским шагом по комнате, оставляя на полу мокрые большие отпечатки подошв, заглянул в тетрадь двоечницы, прочел с оттенком любознательности правило правописания частицы НЕ с причастиями. Потом посмотрел на часы.

— Если скоро вернется, пусть идет сразу же в Красный дом. Комната семнадцатая. А если через час не придет, тогда завтра. К девяти утра. Не в Белый дом, смотри, а в Красный. Понятно?

К девяти утра. Я вздохнула с облегчением. Значит, нам дарована еще целая ночь. Только бы не забыть, что я должна сказать Антону. Самое главное. А то после ареста близкого, как и после смерти, всегда оказывается, что самого-то главного и не успела сказать... Ах, только бы ЭТОТ ушел до возвращения Антона, только бы не встретил его в коридоре!

Я напрягаюсь до кончиков волос, внушая прищельцу: ну, уходи, уходи же! Но он не торопится. Еще раз взглядывает на часы. Ужас! Он садится!

Нет... Только поправить портянку, выбившуюся из правого сапога. Встал...

— Так ровно в девять! Понятно?

Я хочу выйти вслед за ним в коридор, но моя двоечница, которая вполне разобралась в этом эпизоде (уроженка Колымы!), отстраняет меня и на цыпочках выходит вслед за фетровыми сапогами. Проходят нескончаемые секунды.

— Ушел... — шепчет моя ученица, и на ее близоруких глазах блестят слезы. — Вниз пошел, к бухте... А Антон Яковлич как раз из города идет... С другой стороны... Нет, нет, не встретились!

Антон еще с порога, взглянув на меня, все понял.

— За мной приходили?

И после краткой информации:

— Нельзя нам с тобой сейчас расставаться ни на минуту. Ведь могли и за тобой первой... И увели бы без меня...

Несколько минут мы обсуждаем — при активном участии моей ученицы — такую важную деталь, как приказ явиться именно в Красный дом, а не в Белый. Это вселяет надежды.

— В Красном — насчет ссылки и поселения. А если бы новый срок, так уж обязательно бы в Белый, — разъясняет нам тринадцатилетняя колымская девчонка, отец которой тоже носит фетровые сапоги. Тут она все на пятерку знает! Это вам не частица НЕ с причастиями!

Посидев немного на табуретке, прямо в пальто и шапке, Антон решительно встает.

— Не опоздать бы в кино, Женюша . . . Ну конечно, пойдём . . . Что ж последний вольный вечер сидеть тут и мучиться! Хоть отвлечёмся . . .

Мы отводим Тоню к Юле, а сами вот уже снова сидим, взявшись за руки, на наших излюбленных местах — в предпоследнем ряду с краю.

По ходу итальянского фильма показывают кусок католической мессы. Антон радостно волнуется.

— Боже мой, какая ты еще дикарка, Женюша, — шепчет он, — коммунистическая готтентотка. Подумать только — ты никогда не слышала ничего этого. Зато эта радость еще у тебя впереди . . .

И вдруг мы оба явственно слышим, как девушка в дорогой каракулевой шубке, сидящая позади нас, вздыхает и громким шепотом говорит своему соседу:

— Смотри, как раньше Бога-то славили! Прямо как Сталина!

Ночь прошла удивительно быстро. Как ни странно, но именно в эту ночь мне удалось заснуть. Потому что мы рассудили: раз вызвали к девяти утра, значит, сегодня вряд ли придут ночью. А когда проснулись — около шести — то часы помчались, как бешеные. И опять мы не успели сказать самого главного. И вот уже Антон стоит у дверей в пальто и шапке. И снова:

— Прости, если я тебя когда-нибудь обидел . . .

— Молчи, молчи . . . Скажи, сколько часов можно ждать с надеждой на возвращение?

— Часа четыре, не меньше. Бюро пропусков . . . У дверей кабинетов . . . До часа не приходи в отчаяние, ладно? Ну, а если и не вернусь, то ведь все равно встретимся . . .

Чтобы переключить свое страшное возбуждение, чтобы куда-то направить то, что сжигает изнутри, я начинаю мыть полы. С остервенением скоблю те места, где остались пятна от вчерашних фетровых сапог. Потом тру половую тряпку мылом так ожесточенно, точно всерьез задумала вернуть ей первоначальный белый цвет.

Стук в дверь. Ничего, это всего только наш друг Гейс. Михаил Францевич Гейс, земляк Антона, тоже немец-колонист из Крыма. Он выглядит не просто взволнованным, а потрясенным, и это усиливает мое отчаяние.

— Уже знаете? — спрашиваю я.

— Да. И вы тоже?

Мимолетно удивляюсь странному его вопросу — как же мне-то не знать . . . И тут же начинаю выпытывать, что он думает о перспективах, если человека вызвали не в Белый дом, а в Красный. Можно ли надеяться, что . . .

— Можно! — произносит он каким-то нелепо-торжественным тоном. — Теперь нам действительно можно надеяться.

И совсем уж без всякой логики добавляет:

— Почему у вас выключено радио? Включите!

— Господи! Да что с вами? Понимаете ли вы, наконец, что Антона вызвали в Красный дом?

Не отвечая, он подходит к стене, включает вилку репродуктора в штепсель. И вдруг сквозь трескучие разряды я слышу . . . Что я слышу, Боже милосердный!

« . . . Наступило ухудшение . . . Сердечные перебои . . . Пульс нитевидный . . . »

Голос диктора, натянутый как струна, звенит сдерживаемой скорбью. Отчаянная невероятная догадка огненным зигзагом прорезает мозг, но

я не решаюсь ей довериться. Стою перед Гейсом с вытаращенными глазами, не выпуская из рук половой тряпки, с которой стекает вода.

«... Мы передавали бюллетень о болезни...»

Из-за шума в голове — точно звуки прилива дошли сюда из бухты Нагаево — я не слышу перечисляемых чинов и званий. Но вот совершенно явственно:

«Иосифа Виссарионовича Сталина...»

Чистая половая тряпка вырвалась из моих рук и брякнулась назад в ведро с грязной водой. И тишина... И в тишине отчетливо слышу торопливые шаги Антона по коридору.

— Вернулся!

— Паспорт отобрали! — ликующим голосом, точно благую весть, возвещает он. — Вспомнили, что у меня нет ни ссылки, ни поселения. Переведут на поселение, только и всего...

— Еще неизвестно, переведут ли, — загадочно произносит Гейс.

Антон начал было рассказывать о беседе в Красном доме, но репродуктор снова затрещал во всю мочь. И опять: «Передаем бюллетень...»

— Антоша, — твердила я, вцепившись в руку Антона, — Антоша... А вдруг... А вдруг он поправится?

— Не говори глупостей, Женюша, — почти кричал возбужденный Антон, — я говорю тебе как врач: выздоровление невозможно. Слышишь? Дыхание Чайнстока... Это агония...

— Вы просто младенцы, — ледяным голосом сказал Гейс, — неужели вы думаете, что если бы была надежда на выздоровление, народу сообщили бы об этой болезни? Скорее всего, он уже мертв.

Я упала руками на стол и бурно разрыдалась. Тело мое сотрясалося. Это была разрядка не только за последние несколько месяцев ожидания третьего ареста. Я плакала за два десятилетия сразу. В одну минуту передо мной пронеслось все. Все пытки и все камеры. Все шеренги казненных и несметные толпы замученных. И моя, моя собственная жизнь, уничтоженная Его дьявольской волей. И мой мальчик, мой погибший сын...

Где-то там, в уже нереальной для нас Москве, испустил последнее дыхание кровавый Идол века — и это было величайшее событие для миллионов еще недомученных его жертв, для их близких и родных и для каждой отдельной маленькой жизни.

Каюсь: я рыдала не только над монументальной исторической трагедией, но прежде всего над собой. Что сделал этот человек со мной, с моей душой, с моими детьми, с моей мамой...

— Который час? — спросил вдруг Гейс.

— Двенадцать, — ответил Антон, — пробил двенадцатый час. Скоро мы будем свободны...

#### Глава пятнадцатая

## ПО РАДИО — МУЗЫКА БАХА

И до пятого марта и после него, в скорбные дни погребения Великого и Мудрого, в эфире царил Иоганн Себастьян Бах. Музыка заняла в передачах невиданное, непомерное место. Величавые музыкальные фразы, медленные, просветленные, лились изо всех репродукторов нашего барака, заглушая коридорную беготню детей и истерические рыдания женщин.

Да, в нашем бараке, населенном колымским племсом, бабы голосили об усопшем со всей истовостью, с выкриками «И на кого ж ты нас спок-

нул» . . . Они знали приличие, наши бабенки, и не хотели выглядеть хуже людей. Рыдал весь Магадан — рыдали и они.

Впрочем, иногда, сходясь на кухне, они вдруг прерывали плач и деловито обменивались соображениями насчет того, что же теперь с нами, сиротами, будет. По международным вопросам все сходились на том, что войны не миновать, потому что нынче и заступиться-то за нас некому. Но насчет внутренних дел стали иногда, вопреки рыданиям, прорываться оптимистические нотки: может, теперь не так будет строго, может, кому и удастся на материк стронуться.

— А ты, мамочка, почему не плачешь? — любопытствовала Тоня. — Все тети плачут, а ты нет . . .

— Мама уже плакала один раз, — терпеливо объяснял ей Антон, — только тебя тогда дома не было, ты у тети Юли гостила.

В эти траурные дни у Антона вдруг снова объявилась огромная врачебная практика. То и дело за ним присылали из начальственных домов. От тягостных переживаний, от полного смятения чувств и тревог за будущее занемогли многие. И вспомнили опального, снятого с работы, сдавшего свой паспорт в Красный дом, но — черт возьми! — умелого немецкого доктора.

Смятение охватило знатных колымчан еще до сообщения о смертельном исходе болезни Вождя и Друга. Уже и предварительные бюллетени повергли наше начальство в мучительное недоумение. Ведь они начисто забыли о том странном факте, что Генералиссимус сотворен из той же самой несовершенной плоти, что и остальные грешные. Уже сама по себе его болезнь становилась трещиной на теле той счастливой, понятной, гармоничной планеты, обитателями и хозяевами которой они были и с которой так ловко управлялись.

Кровяное давление . . . Белок в моче . . . Черт возьми, все это годится для простых смертных, но какое отношение такая подлая материя может иметь к НЕМУ?

Наверно, так же были бы оскорблены в своих лучших чувствах древние славяне, если бы им объявили вдруг, что у Перуна повысилось кровяное давление. Или древние египтяне, если бы они неожиданно узнали, что у бога Озириса — в моче белок.

Еще более разрушительное действие возымела на колымских начальников ЕГО смерть. Немудрено, что со многими из них в эти дни случались приступы стенокардии и гипертонические кризы. Нет, при всем реализме своего мышления эти люди не могли смириться с вульгарной мыслью о том, что Гений, Вождь, Отец, Творец, Вдохновитель, Организатор, Лучший друг, Корифей и прочая и прочая подвержен тем же каменным законам биологии, что и любой заключенный или спецпоселенец. Своенравие Смерти, вторгшееся в гигантскую систему, такую стройную, такую плановую, было непостижимо. Наконец все они привыкли к тому, что люди высокого положения могут умирать только по личному указанию товарища Сталина. А тут вдруг . . . Нет, право, в этом было что-то скандальное, не совсем приличное . . .

Медлительная музыка Иоганна Себастьяна Баха была призвана поддержать дрогнувшее величие.

Немало сердечных приступов и нервных припадков было в эти дни и среди наших политических ссыльных. Десятилетиями лишенные надежд, мы валились с ног, пораженные первой вспыхнувшей зарницей. Привывшие к рабству, мы почти теряли сознание от самого зарождения мысли о свободе. Прикованные к своей ледяной тюрьме, мы заболели при воскресшем воспоминании о поездах, пароходах, самолетах . . .

Никто из нас не мог сидеть в эти дни дома. Бродили по улицам. Останавливались при встречах со своими. Озираясь по сторонам, обменивались потаенным блеском глаз, возбужденными шепотами. Все были словно пьяные. У всех кружились головы от предвкушения близких перемен. И хотя еще никто не знал, что скоро с легкой руки Эренбурга вступит в строй весеннее слово «Оттепель», но уже вроде услышали, как артачатся застоявшиеся льдины, но уже шутили, повторяя формулу Остапа Бендера «Лед тронулся, господа присяжные заседатели!».

— Говорят, Молотов будет . . .

— Вряд ли . . . Тупица . . . Может только твердить зады . . .

— Ну и достаточно . . .

— Скорей Берия . . .

— А тогда как бы еще солонее не было . . .

— Ведь, наверно, есть какой-нибудь документ . . . Завещание о престолонаследии.

— Во всяком случае вечное поселение отменяют. Вот увидите!

— И двадцатипятилетние сроки . . .

Время от времени раздавался чей-то совсем сбитого с толку голос:

— Как бы хуже не стало . . .

На такого сейчас же бурно обрушивались. Возобновились споры о роли личности в истории. Находились еще среди поселенцев ортодоксальные марксисты, все еще лепетавшие бесцветными растрескавшимися губами, что-нибудь из некогда затверженного на лекциях по диамату.

Но огромное большинство ссыльных явственно ощущало, как дрогнуло государство, лишившееся Владыки к исходу тридцатого года его царствования, как смутились и переполошились все крупные и мелкие диспетчеры, когда увидели, что нет больше «того пальца, который столько лет лежал на главной кнопке управляющей машины».

На четвертый день траурной музыки, вернувшись домой из магазина, я увидела, что наше пианино стоит на старом месте. Улыбающийся Степа Гусев, непьющий чудо-шофер, на этот раз изменил себе. Сидя за столом вместе с Антоном, они оба потягивали из кружек шампанское, заменявшее на Колыме ситро и минеральную воду.

— Теперь вы в безопасности, — добродушно щурясь, сказал Степан, — теперь вас не тронут.

Он разыскал в шкафчике третью кружку, налил мне и провозгласил:

— Ну, за свободу!

— Глас народа — глас Божий. — подытожил Антон.

Собственно говоря, еще не было никаких конкретных признаков того, что опасность для нас миновала. Строго говоря, совсем не была исключена возможность того, что Белый дом даст ход доносу Кривошея. Но мы интуитивно почувствовали, что этого не будет. Мы, не сговариваясь и не обсуждая этого вопроса, перестали ждать третьего ареста. Точно девятипудовый камень свалился с плеч. И не последнюю роль в этом вновь обретенном чувстве жизни играла музыка, день и ночь льющаяся по радио музыка Баха. Она напоминала нам о том, что нет уже того, кто воплощал безумие и жестокость.

Я не могла бы отчетливо объяснить, чего я жду от ближайшего будущего. Но ждала я страстно. Каждое утро начиналось теперь для меня с восхитительного чувства: все дрогнуло, сдвинулось, повернулось. Мы — у истоков новой эпохи. Конечно, это сопровождалось тревогой. Она гнала на улицу. Хотелось видеть людей, слышать их мнения о нашем будущем, о будущем страны. И как радостно было видеть, что почти все наши разделяют эти чувства!

Вот мы с Юлей идем по центральной улице Магадана. Встречаем Алексея Астахова. Это приятель Антона по прииску. Он весь лучится. Сияет его великолепная черная борода а ля Александр III, лакированные карие глаза, белые, такие же, как у Антона, неистребимые зубы. Это живописнейший человек. Высок, статен, красив. Да и слушать его — одно удовольствие. Речь его остра, сочна, блестяща. И все это после многих лет заключения.

— С праздником вас! Со светлым Христовым воскресеньем! — восклицает Алексей Алексеич. На какой-то момент его голос заглушает даже траурную музыку, все еще плывущую по радио. Изо всех громкоговорителей . . . Астахов на прииске оглох, и теперь ему не всегда удается соразмерять мощь своего раскатистого голоса со слухом собеседника.

Осторожная Юля в ужасе. Оглядывается на прохожих. Затем кричит так же громко, прямо в ухо Астахову:

— Разве нынче такая ранняя Пасха?

Она победительно смотрит на меня. Вот как тонко она вышла из неловкости! Потом для окончательной безопасности Юля с пафосом добавляет:

— Скорее всего генсеком будет теперь Лаврентий Павлович . . . Это было бы самое разумное . . .

О, Юлька, великий конспиратор! Зря старалась! Никто из прохожих не обращает на нас никакого внимания. У всех масса новых забот и волнений. В новой ситуации каждый еще только прощупывает свое новое место.

Подходят еще двое ссыльных. Снова перекрестный огонь предсказаний, предположений, опасений. Еще не проникло в наши беседы слепящее слово «реабилитация», но уже носится в воздухе отчасти унижительное, но все-таки желанное — «амнистия». И уже развелось немало информированных товарищей, предсказывающих, какие именно статьи подойдут под этот акт доброй воли нового правительства.

Во всех этих толках было много смешного, нелепого, трогательного. Люди, десятилетиями оторванные от жизни Большой земли, не могли не делать ошибок в рассуждениях. Но единой и общей для всех была уверенность, что кто бы ни сел сейчас на престол московский (в том, что диктатура будет единоличной, как-то даже не сомневались), он будет менее жесток, чем покойник. Потому что более жестоким быть нельзя не только по человеческой, но даже по дьявольской мерке.

Эти наши умозрительные надежды впервые начали облекаться плотью через десять дней после кончины Генералиссимуса, пятнадцатого марта, в день очередной «отметки» ссыльных и поселенцев. Войдя в длинный узкий коридор, где мы обычно стояли нескончаемой шеренгой перед дверями коменданта, я увидела, что вдоль этой знаменитой стены стоит скамейка.

Скамейка! Довольно удобная, со спинкой, вроде садовой. Длинная, человек так на десять. На ней уже сидело четверо, и у всех у них сияли глаза и раздвигались в улыбке губы. Ведь годами, годами стояли-выставали мы здесь, подпирая своими спинами и боками грязно-серую, мажущую мелом стену. Годами переминались с ноги на ногу в ожидании, когда откроется перед тобой заветная дверь и хмурый комендант, не поднимая глаз, пристукнет штамп, продолжит твою жизнь на две недели. И вдруг на этом самом месте — скамейка! Со спинкой . . .

— Садись, дорогая, — сказал мне старик в серой телогрейке с синими заплатами на локтях, — садись, отдыхай! Комендатура не хочет, чтобы ты зря утомлялась.

Он весело подмигнул мне мутным склеротическим глазом, а трое остальных захохотали. Смех в комендатуре!

Минут через десять вся скамейка была заполнена, а те, кому не хватило места, все равно были радехоньки и любовно разглядывали сидящих.

И тут свершилось второе чудо. Торопливо вошли обанаша коменданта, аккуратно закрыли за собой дверь, чтобы не сквозило, и . . . улынулись нам. Правда, это были несколько вымученные улыбки, какие-то неопределенные, с оттенком опасливости. Но все-таки факт оставался фактом: коменданты улыбались. Те самые коменданты, — а их уже много у нас сменилось, — которые неизменно проходили мимо нас, хлопнув входными дверями, напустив в коридор холода, не глядя на нас, с каменными лицами, точно мы были не живые существа, а какие-то детали постройки.

— Проходите, товарищи, — сказал один из комендантов, — вдвоем быстренько отметим вас . . . Пять человек проходите сразу. А остальные вот тут, на скамейке, посидите, подождите немного.

— Он, кажется, сказал ТОВАРИЩИ? Я не ослышалась? — переспросила поселенка Голубева, знакомая мне по дому Васькова.

— Нет, не ослышалась, — с готовностью ответил старик с синими заплатами.

— Раз скамеечка, то почему бы и не ТОВАРИЩИ! — И, причмокнув губами, со смаком произнес: — Так сказать, социалистический гуманизм!

Все ответили ему дружным счастливым хохотом.

. . . Летели дни, и мало-помалу траурная музыка стала уступать место общинному разговорному жанру. Мы теперь не выключали своего репродуктора. Ведь впервые можно было ждать от этой коробочки, среди потока обычной шелухи, каких-нибудь реальных новостей.

И однажды мы действительно услышали нечто, что поразило не только весь мир, но даже и выдавшую виды Колыму. Это было в самом начале апреля.

— Слушайте! — истощным голосом завопила Клава Гусева, влетая на кухню. — Радио слушайте!

На кухне радио не выключалось, но его голос всегда был заглушен примусами, керогазами, бабьим гомоном. Однако сейчас все затихло в один миг. И во внезапной тишине мы прослушали официальное сообщение о прекращении дела врачей — «убийц в белых халатах». Текст явно смущал диктора. Его наторевший в победных реляциях и патетических восторгах голос звучал непривычно. Его устами говорил великий Левиафан, непогрешимая держава. И впервые на памяти слушателей она говорила сейчас о своих ошибках. И не только об ошибках! Даже о «незаконных методах следствия». Правда, эти странные слова были произнесены как-то не совсем разборчиво, точно сквозь зубы и с явным усилием. Но так или иначе, а произнесены они были. И это стало в нашем восприятии началом новой эры.

Незаконные методы следствия! Подумать только! Они выговорили это. Эти три слова были теперь точно некая вакцина неумного возбуждения, впрыснутая под кожу миллионам колымских ссыльных и заключенных. Всем вместе и каждому в отдельности. Люди перестали спать. Исхудали от перенапряжения, от ежеминутного ожидания невиданных перемен. Говорили до сухости в глотке, точно в какой-то горячке снова и снова пересказывая друг другу свои старые следственные истории, тысячекратно пересказанные за долгие-долгие годы. Все раны тридцать седьмого и сорок девятого открылись, нестерпимо жгли, требовали исхода. Их нельзя было дальше выносить после того, как в прессе — даже в газете «Советская Колыма» — появились эти три слова «Незаконные методы следствия».

Помаленьку из глухого бурленья стали выкристаллизовываться эксцессы. Кто-то из ссыльных бросил коменданту в лицо свое удостоверение, закричал: «Не приду больше! Стар стал, чтобы каждые две недели вам кланяться, штамп ваш вымаливать. Хотите, забирайте! А сам больше не приду!» И главное — ничего ему не было. Просто через несколько дней получил по почте свое удостоверение. И на нем — штамп за те две недели и еще за две вперед . . .

На мужской магаданской лагерной командировке работяги устроили хай из-за прокисшей баланды. Некоторые даже миски на пол пошвыряли. И опять-таки начальство стерпело. Никого в карцер не взяли. А вместо той кислой баланды по два черпака каши выдали.

А как-то солнечным апрельским утром вдруг обнаружилось, что в течение ночи какой-то неизвестный злоумышленник напялил ржавое поганое ведро на статую товарища Сталина, что стоит в Магаданском парке культуры и отдыха. Прямо на голову . . .

Одновременно пошли слухи о бунтах в лагерях. Не у нас, правда. Где-то на Воркуте, на Игарке . . . И сведения о них были глухими, неопределенными, точно какие-то отдаленные подземные толчки. Но эхо от них все равно раздавалось, раскатывалось по нашим баракам. Невиданные перемены . . . Неслыханные мятежи . . .

Теперь, оглядываясь назад, я вижу, что это были для нас счастливые дни. Освобождение от страха. Пусть пока еще подсознательное, не основанное ни на фактах, ни на трезвом анализе. Но все равно. Почему-то вдруг напряглись все мускулы тела и все силы души. Точно тебя вдруг окатило каким-то колдовским душем. И вот уже смыта усталость, которая, казалось, въелась в каждую клеточку. Мы помолодели. Я стала дьявольски энергичной. Как в двадцать лет.

Я предприняла ряд атак на начальство. Прежде всего написала заявление о реабилитации. Впервые. Никогда я не включалась прежде в массовый психоз писания заявлений, которому многие были подвержены. Бывало, в Эльгене, после проверки, при свете коптилок, таясь от надзирателей, строчили и строчили, меняя адреса. То верховному прокурору, то министру госбезопасности, то председателю совета министров, то в центральный комитет партии. А чаще всего — лично товарищу Сталину. Некоторые написали за лагерный срок несколько сот заявлений. Ответ был всегда один: оснований для пересмотра дела нет.

Никогда я этому не поддавалась. Твердо знала, что пока на троне Лучший друг детей, ни одна колымская мать не вернется к своим детям.

Теперь я писала заявление, считая, что появились шансы на благоприятный ответ. Я писала на имя Ворошилова. Потому что в своей первой юности я сталкивалась с ним. Кратко напоминала ему о себе, сообщала о своей судьбе, просила вмешаться. ТЕПЕРЬ он мог, имел возможность сделать это. Я не сомневалась в том, что смерть тирана раскрепощает не только нас, но и тех, кто стоял за его спиной в роли ближайших соратников.

Конечно, в тогдашних моих чаяниях и надеждах очень мало места уделялось трезвому анализу положения, особенностей системы в целом. В том состоянии всеобщей эйфории, в каком мы тогда находились, верх брали эмоции. Чувство почти физиологического обновления, которое мы испытывали, мешало нам рассуждать, оценивать, взвешивать.

Насколько далеко шли мои надежды на начало новой жизни, видно хотя бы из того, что я начала вдруг настойчиво писать на материк, добиваясь, чтобы мне выслали хотя бы копии моих документов об образовании. Ну пусть только университетский диплом. Юля уверяла меня, что я с таким же успехом могла бы попросить, чтобы мне выслали звезду



с неба. Она полагала, что от всей нашей прошлой жизни осталась только та самая розовая папка, на которой написано «Хранить вечно».

Но чудеса продолжались. Сестра Аксенова (моего мужа) сумела получить в архиве копию моего университетского диплома и выслала его мне. Вот тогда-то я и предприняла еще один шаг, удививший своей дерзостью не только начальство, но даже и многих товарищей по ссылке. Я написала в политуправление Дальстроя заявление с просьбой указать мне, на какие средства я должна существовать в ссылке, если мне не дают работать. Требовала назначения по специальности. Педагогической работы. И совсем уже вызывающе добавляла: «Так как в Магадане нет вузов, то я согласна преподавать в средней школе».

— Ты с ума сошла! — восклицала Юля. — Привлекать к себе внимание такими претензиями! И это в то время, когда они еще не разобрались в кривошеевских доносах на тебя!

Астахов подшучивал надо мной. Сочинил даже памфлет «От скамейки до кафедры». Там излагалось в стихах, как я, обрадовавшись скамейке в комендатуре, запросилась на кафедру и как Некто в фетровых сапогах тряхнул меня, чтобы раз и навсегда покончить с такими бессмысленными мечтаниями.

— Смейтесь, смейтесь, — упорствовала я, — я ведь знаю, что они ответят. «Мы бы зас с удовольствием взяли, но у вас ведь нет документов об образовании, с праве на преподавание». Тут я им дипломчик и предъявлю. Посмотрим, что они тогда запоют. По-моему, податься им будет некуда.

Антон притворно вздыхал над моей неразумностью, острил: меня, мол, семеро козлят ничему не научили. Проведя идеологическую диверсию среди шестилетних, подбираюсь сейчас к шестнадцатилетним . . .

Но все это были шутки. А всерьез-то я видела, что он вполне одобряет мои энергичные действия и сам находится в таком же состоянии душевного подъема, как и я.

Этого настроения не могла погасить даже бериевская амнистия, объявленная вскорости. Хотя, конечно, она нас очень огорчила, а некоторых даже повергла в полную безнадежность. Это была амнистия только для уголовников. Политических она практически не коснулась, потому что под нее формально попадали только те, кто имел срок до пяти лет. А таких среди политических не существовало. Даже восьмилетников было ничтожно мало.

Мало того, что эта амнистия обманула ожидания, она еще принесла неисчислимые бытовые бедствия. В ожидании транспорта на материк выпущенные из лагерей блатари терроризировали Магадан. Милиция не справлялась с уличными грабежами. Наглость блатарей наводила на мысль, вернее на тревожное предощущение каких-то разгульных погромов, каких-то «И-эх, и-эх, без креста!» С наступлением сумерек мы были просто блокированы в своем Нагаеве. Идти через больничный пустырь после наступления темноты стало опасно для жизни.

К счастью, пришла наконец весна и на Колыму, открылась навигация. Новых свободных граждан, «друзей народа», облагодетельствованных Лаврентием Берия, стали косяками грузить на пароходы, отплывающие в бухту Находка, а оттуда во Владивосток, где их перегружали в железнодорожные эшелоны. Поезд, отозвивший эту компанию, прозвали «пятисот веселый». По имени поезда и всех амнистированных уголовников величали «весельчаками». Еще долго до нас доходили разные слухи о подвигах «весельчаков» во Владивостоке, Хабаровске, в сибирских городах, лежащих на пути к столице.

В начале лета Антону предоставили наконец работу. Его взяли в Госстрах в качестве врача, дававшего заключение о здоровье страхующегося. Это была плоская и бездушная работа, с которой он возвращался каждый день расстроенным, посеревшим. Но отказываться нечего было и думать. Все-таки этот несчастный госстрах выводил нас из затянувшегося постоянного безденежья.

— А как же вы будете оформлять меня? Ведь паспорт отнят, а ссыльного удостоверения у меня тоже пока нет, — допытывался Антон у своих новых хозяев.

— Ничего, все согласовано, где надо, — уклончиво, торопливо и даже несколько смущенно ответили ему.

Потом и мне предложили играть на пианино в марчеканском детском саду. Это было очень далеко, приходилось с большим трудом добираться. Да и вообще при изменившихся обстоятельствах мне казалось невыносимым тянуть все ту же ляжку. Ведь главного мучителя больше нет. Так неужели я не смогу добиться хоть простейшей, элементарной умственной работы? Только теперь, когда отошли немного в сторону страхи за самую жизнь, я с особой остротой ощутила, как я истосковалась по настоящей деятельности. Писать и преподавать. Преподавать и писать. Вот чего я жаждала, вот что я обдумывала днем и ночью, составляя в уме конспекты своих первых лекций. Набросать их на бумаге я не решалась. Чтобы не сглазить, не спугнуть свою упрямую надежду, которую почти никто не разделял.

А между тем неожиданные происшествия продолжались. Кажется, история начинала наконец работать на нас.

... Я была на кухне и варила под руководством дневальной тети Зины страшного уродливого краба в тот момент, когда наше невыключаемое радио вдруг ни с того ни с сего поведало нам новости из биографии Лаврентия Берия. Услыхав, что он агент царской охранки, английский шпион и оголтелый враг народа, мы с тетей Зиной покинули кипящего краба на произвол судьбы и в немом недоумении уставились друг на друга.

— Тетя Зина, — сказала я, — тетя Зина, повторите, пожалуйста, что вы слышали сейчас по радио?

— А вы? Сами-то вы чего слышали? — крикнула она, как-то даже агрессивно надвигаясь на меня.

— Я не разобрала... Или, может быть, мне показалось...

— Ну а я и подавно ничего в этом не смыслю. Вы-то люди ученые, газеты читаете, по телефону разговариваете... Чего же это я стану такое повторять... Мы люди простые, в университетах не учились.

Я быстро собралась и бросилась к Антону, на новую его службу.

— Слышал?

— Тш-ш-ш... — ответил он. — Пока помолчим. Сейчас я закончу тут дела, и мы с тобой сбегаем на почту, проверим...

Я сразу поняла, что он имеет в виду. На почте, над отделом «Заказная корреспонденция» висел портрет Лаврентия Берия. Очень интеллигентное лицо. Пенсне, правильные, даже тонкие, черты, вдумчивый взгляд.

Запыхавшись, мы вбежали в просторный почтовый зал. Над головой девицы, ведавшей заказной корреспонденцией, вызывающе, почти цинично, зиял пустой темный квадрат. Оказывается, стена здорово выгорела.

Через несколько дней после этого происшествия Антону сообщили в неслышанно вежливой форме, что полковник Шевелев из Красного дома хотел бы встретиться с доктором Вальтером. Нет, точного времени полковник не назначает. Просто когда у доктора выдастся свободный часок. пусть звякнет по такому-то телефону.

Встреча состоялась. В большом уютном кабинете, сидя рядышком на мягком кожаном диване, собеседники, при полном взаимопонимании, обсудили подробно коварные проявления полковничьей печени, договорились о диете, тут же вызвали фельдъегеря, летящего завтра в Москву, чтобы вручить ему рецепты в московскую гомеопатическую аптеку. И только уже проводив доктора до дверей и с благодарностью пожимая ему руку, полковник вдруг вспомнил:

— Ах да, чуть было не забыл . . . Минуточку, доктор . . . Тут в моем столе залежался ваш паспорт. Возьмите его, пожалуйста!

. . . Летние закаты в Магадане обычно очень ветреные. Даже в голову не приходит снять пальто, когда поднимаешься из центра к нашему больничному пустырю. Да и на спуске тебя все равно пронизывает насквозь колким холодком.

А в этот вечер, когда мы решили отметить прогулкой возвращение Антону его паспорта, все было как-то по-особому. Может, за все лето не больше двух-трех раз и выдастся такое. Даже на самом ветру стоял неподвижный, прозрачный, слегка прохладный воздух. Мы остановились, вглядываясь в лежащую перед нами бухту.

— Что за чудо нынче! — воскликнул Антон. — Не Нагаево, а просто Неаполь какой-то . . .

Белые корабли, деликатно уступая друг другу место, толпились у причалов. Не багровый, как обычно, а нежно-персиковый закат сеялся сверху на темно-синюю гладь воды.

Мы остановились, неотрывно глядя на открывшуюся перед нами нежданную, негаданную красоту.

— Ты говоришь, Неаполь? — переспросила я. — А что же! Может быть, еще и Неаполь увидим . . . Мне кажется, жизнь начинается сначала . . . Мы еще не старые . . .

Безумное, безумное время! Шальные надежды вернуть украденную жизнь. Какие-то тайные, еле внятные голоса изнутри.

Ну что ж, постоим, постоим еще над этой зыбко-прекрасной водой, красоту которой мы впервые за много лет восприняли. Постоим, чтобы продлить еще немного свои иллюзии, чтобы подальше не проваливаться в действительность. Пусть сами собой, без нас, разоблачатся обманы! Ведь если повержен Змей Горыныч, то значит где-то уже ведет свою великодушную армию добрый и храбрый Иван-царевич.

Постоим. Как мы могли не замечать, что она живописна, наша Бухта! Мы не умели отделить ее первозданную суровую красоту от грязного налета извергаемых из ее вод потоков серых бушлатов, уродливых чуней, злобных окриков конвоя . . .

Восхищенное погодой, все население нашего барака вылезло на зава-линку. Курят, окликают ребят, поглаживают узловатые уморившиеся ноги, расчесывают волосы, грызут кедровые орешки. Как в воронежской или пензенской деревеньке.

А в коридоре — необычная тишина. Только из-за закрытых дверей тридцати комнат (по пятнадцати с каждой стороны) льется из репродукторов музыка.

— Кажется, опять Бах, — говорит, прислушиваясь, Антон.

— Это хорошо. Это доброе предзнаменование. Баха они играют каждый раз, когда смущены, когда предстоит сказать что-то новое . . .

Так мы втянули Иоганна Себастьяна Баха в наши грешные земные дела.

Окончание следует



## ЭТА НАИВНАЯ ВЕРА

Перевела Наталия БАБИЦКАЯ

**Аранд СКАЛБЕ** — латышский поэт, заслуженный деятель культуры Латвийской ССР, лауреат Государственной премии Латвийской ССР — родился в 1922 г. в г. Абрене. По образованию педагог. Более 35 лет работает в журнале «Карогс». Среди изданных книг — сборники стихов: «Журавли прилетают» (1956), «Дикая яблоня» (1959), «Закалка» (1963), «Осколки» (1967), «Звездиный день» (1970), «Сербристая отцоаская трола» (1972), «Вечно солица на небе» (1981), «Одинокие слова» (1983), «Зоренька» (1985); сборник афоризмов «Поскребыши» (1977).

Переаодил стихи Гете, Гейне, Пушкина, Тютчева, Лермонтова.

Пронзаедения А. Скалбе переаодились на английский, немецкий, украинский, белорусский, литовский, эстонский и другие языки народов СССР и зарубежных стран. В переаоде на русский язык выходили сборники стихов А. Скалбе: «Горение» (1960), «Дни» (1968).

### ОСЕНЬ

Сегодня лес раздет до наготы.  
Всю позолоту глянцевою смыло.  
И, наконец, со страхом видишь ты  
то, что вчера еще сокрыто было.

Ты думал, там — роскошные дворцы,  
а не хибары, крытые трухою,  
что, пяля бельма окон, как слепцы  
качаются, на курьих ножках стоя.

И все твои вершины — лишь копка  
соломы, уцелевшей только чудом.  
И бездны леденящей глубине  
едва сравнима с обмелевшим прудом.

А царь твой, обещавший благодать,  
остривший плуг сверкающий,  
на деле  
стремился к одному лишь — распахать  
свои мертвородящие наделы.

И все же, не страшась ни тьмы, ни вьюг,  
идет Она, янтарным светом вея,  
и воедино сводит жизнь твою,  
и зренье становится острее.

### ПУСТОТА

Обе ладони уже пусты.  
Вижу и сам, что ни йоты нет.  
Если же рядом, как прежде, ты,  
лишь отшутиться могу в ответ

лаской затертой, а может быть,  
чем-то блестящим фальшиво.

Но  
горы, что словом спешил свалить,  
словом воздвигнуть вновь — не дано.

Пусто, как будто и было так.  
Даже остылого нет следа.  
Жаркий и рдяный, погас очаг,  
и невозможно понять — когда.

## СЛОВО И ДЕЛО

Слов было много, но мало  
вспахано тучной земли.  
Остановились устало,  
не одолев колен.

Гром оглашает равнину —  
дождь разразится вот-вот.  
Слово и дело едины.  
Делу благому — черед.

Слово стоит против слова.  
Их поединок — не грех.  
Только бы дела основа —  
совесть не знала прорех.

\* \* \*

И речь неуместна здесь,  
и все слова — не попад.  
Здесь маленькие скворцы,  
как стрелочники, свистят.

Вдоль влажного поля, вдоль  
крутых берегов реки  
рябины застыли в ряд,  
сигнальные сжав флажки.

Зигзаг в небесах сверкнет —  
недолгое торжество.  
Продлится мгновенье путь —  
путь поезда моего

меж двух непроглядных стен,  
двух звуков и двух цветов,  
от яблочек наливных  
до горьких лесных плодов.

## ПЛАТА

Опять плывет — уже в который раз —  
речной паром. К перилам подойдя,  
ты видишь слепотой усталых глаз,  
как с троса капли падают блестя.

Упав в свою речную колыбель,  
они мгновенно гибнут. Какова  
столь краткой жизни выгода и цель?  
И как уйти, сверкнув, начав едва?

Паромщик строго требует билет.  
(За что, о боже, мы должны платить!)  
Течение — вечность. И возврата нет.  
И берег еле виден, словно нить.

Мгновений капли падают в поток,  
и озарен сияньем небосклон.  
Быть может, вечность — плата за восторг,  
за главный труд, что к сроку завершен.

## ЭТА НАИВНАЯ ВЕРА

Чудотворец идет, в чутких пальцах сжимая лозу.  
Водоносные жилы лоза открывает ему.  
Верю сказкам, в которых урок преподносится злу.  
Шепот розовых гномов в моем не смолкает дому.

Что таится в кувшине: вода, молоко иль вино?  
Пустоту или плоть под скорлупкой скрывает орех?  
Только то, что снаружи, наивному видеть дано.  
Голод мучит, да каша моя горяча как на грех.

Не дарован мне свыше всевидящий взор мудреца.  
Говорят: — Он в кино нафталин принимает за снег.  
Но подумайте, если клубок размотать до конца,  
то исчезнет наивность и тайна исчезнет навек.

И полынными земли и воды покажутся вдруг.  
И поэтому я никогда не поверю тому,  
что отчаянным плутом мой искренний сделался друг,  
а скажу, что во тьме заплутал он и худо ему.

Знаешь, эту слепую, наивную веру мою  
с детства я сохранил — не для выгоды, не напоказ.  
Верю, верю, что солнце под вечер садится в ладью,  
в золотую ладью  
и на ней уплывает от нас.

Я не верить не мог, цепenea в кромешном аду,  
что исполнена светом смешная наивность.  
И мрак  
ледяной отступал, оставляя деревья в цвету,  
и звезда в небесах подавала светящийся знак.

## ТОГДА

Тогда не будет больше суеты  
и времени на все с избытком хватит.  
И куда я больше не пойду,  
и ни о чем просить уже не стану.  
И поливать спокойно я смогу

невзданные черные тюльпаны.  
Тогда не будет больше суеты  
и времени на все с избытком хватит.

Тогда от мира будет отделять  
лишь тонкая еловая завеса,  
И я услышу, как недалеке  
звенит ручей, с другим в лучах сливаясь,  
как с луга возвращается домой,  
к своим птенцам,

тяжелый белый аист.  
Тогда от мира будет отделять  
лишь тонкая еловая завеса.

Тогда ко мне ты будешь приходить  
все реже, без сомнения все реже.  
И наконец уйдешь за горизонт  
светящейся серебряною точкой.  
Из поднебесных сказочных семян  
проклонется созвездий сонм полночный.  
Тогда ко мне ты будешь приходить  
все реже, без сомнения все реже.

Но в памяти останешься моей  
надолго, ясноликая, надолго,  
Мне не узнать покоя: колесо  
вращается и в душу дует ветер.  
Ты столь прекрасна, жизнь, что и тогда —  
за гранью, за чертою, после смерти —  
останешься ты в памяти моей  
надолго, светозарная, навеки.



Сергей Тодоров.\*\*\*



## КОМНАТА

\* \* \*

Русская поэтесса и переводчица Наталья БАБИЦКАЯ родилась в Москве. Окончила факультет журналистики МГУ. Участница VIII Всесоюзного совещания молодых писателей. Стихи и переводы Н. Бабицкой публиковались в журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Семена», «Советская женщина», «Дальний Восток», «Даугава», «Родник», в сборнике «Альманах поэзии и других изданиях. Переводит стихи поэтов народов СССР; из латышских поэтов — А. Имерманиса, А. Скалбе, А. Элксне и других авторов. Переводы А. Имерманиса опубликованы в его книге «Древо познания» [1984], «Яблоко с древа познания» [1986], «Избранное» [1987]; А. Элксне — в сборнике «Луч» [1988]. Переводы Н. Бабицкой из А. Скалбе войдут в его книгу, которая готовится к выпуску в издательстве «Советский писатель».

Щедрость, мужество, доброта —  
неужели такое было?  
Ум — не тот, красота — не та...  
Не хочу! Не могу! Постыло!

Миновало мою судьбу  
злато время и свято место.  
Год еще — без морщин во лбу,  
чья же, Господи, я невеста?!

Ведь не этого, что в пыли  
прошлогодней,  
но — вне прощенья,  
ибо суше церковной тли,  
бережливей, чем пес Кощя.

А когда-то в моих цветах  
утопала, смеясь, другая,  
и любили, целуя прах  
под ногами и присягая.

Мой умерший, а может быть,  
неродившийся мой, за что же  
то на сердце себе взвалить,  
что другим временам негоже,

и колодою предстать,  
если круг замыкают глуше  
те, что тела спешат урвать,  
отрыгнув недовольно душу?

\* \* \*

Два года распинать себя! Как можно?!  
Да, можно, можно — верь своим ушам!  
Ведь лишь тогда восторг познала кожа  
и жар живой был рядом и дышал.



И что-то раскрывалось, холодело,  
срывалось неподвластное уму...  
А если неживое это тело  
не отзовется больше никому?!

## КОМНАТА

Духотой глухой запорошены  
пол и стены,  
и, как горошины,  
в полумраке звуки висят.  
Здесь предметы, пылью поросшие,  
без присмотра и ласки брошены  
десять лет иль веков назад.

Слепо смотрит лампа разбитая,  
и ржавеет книга раскрытая,  
и тоска лежит на виду.  
Здесь признанья, плачем размытые.  
Здесь постель, бессонницей взрытая.  
Я боюсь.  
Я лучше уйду.

Вот свеча, вздохнув опечаленно,  
умирает,  
в стаканы чайные  
льется зелье.  
Во тьме скользя,  
тьма идет.

Я молчу отчаянно,  
но оставить сейчас хозяина  
я не смею, нет сил, нельзя.

Он мой друг. Он вовек останется  
в этом сани.

Когда расстанется  
ночь с камеркой его,  
в дверных  
сквозняках разойдись с усталостью,  
я вернусь в повседневность,  
странностью  
мудрых глаз испугав родных.

\* \* \*

Лобастые плоды, и молоко, и лепта  
медлительного меда в палевом стекле.  
И плоть холеная вздыхающего хлеба,  
и сад, в зеленой затонувший полумгле.

Все древле, древле — и огромные стрекозы,  
и ливень глянцевого, и гроздь багровых роз.  
И в тридевять ручьев прорвавшиеся слезы,  
И тот ореховый обрыв или откос.

Янтарная свеча и листопад кленовый.  
Сугробов голубых девятые валы.  
И храм на хрусталях, и длинный шлейф лиловый  
и лебеди колонн, и белые балы.

А под ногами снег или дохъ соболя.  
 И честь убитая страшней, чем божий суд.  
 И не дано мне знать сейчас,  
 моей любовью  
 или недолей это нарекут.

## РОЗА

*Марине Цветаевой*

Расцвела в ежовых рукавицах.  
 В лобный стол впилась, а не в петлицу.  
 И в мороз — такой что хоть беги,  
 полюбила ветер,  
 но сторицей  
 ей за то воздали сквозняки.

Не прельщала тощую синицу.  
 Розовой была и круглолицей.  
 Но двуглавой загнана бедой,  
 выпростав хрустальные ключицы,  
 хрустнула под глыбой колесницы,  
 увивать стыдятся ее собой.

Переплетов птицы и темницы  
 серии «Poetiko patrizzi» —  
 не тебе, а ветхости сухой. . .

Страница по душам ты,  
 странца  
 Песни Песней вечнозолотой.



Сергей Тодоров.\*\*\*



## НИСКЕ

(ИЗ ЦИКЛА  
«ЕВРЕИ МОЕГО ДЕТСТВА»)

Рассказ

Перевел Леон ГВИН

Мартиньш КАЛНДРУВА родился в 1916 году. Свой творческий путь он начал как поэт и продолжал писать стихи с начала тридцатых годов до середины пятидесятых. В это же время Калндрува выступает и как прозаик. Первая повесть «Северная звезда» вышла в 1939 году. Среди книг, переведенных на русский язык: «В овраге залпавшись соловьи» [1963], «Илона» [1969].

Рассказ, предлагаемый читателям, взят из цикла «Евреи моего детства».

Он был примечателен, во-первых, тем, что являлся к нам не на подводе, а верхом. Во-вторых, был это не обыкновенный еврей, а «жидовский крестьянин». Свое прозвище он заслужил, вероятно, лишь потому, что обитал не в Кулдиге, центре всех окрестных евреев, но верстах в десяти за городом, возле большака Кулдига—Вейтспилс, где на пригорке, примерно в километре от Киммальной мызы, белел, прилепившись к самой дороге, добротный одноэтажный дом — когда-то в нем была корчма. (Одни из редких памятников питейного прошлого, дошедших до наших дней в целости и сохранности.) Тут Ниске и хозяйствовал. Был он, однако, не корчмарь, а как бы крестьянин, правда и скотом при торговывал.

У нас на хуторе он появлялся обычно осенью, когда коров последние деньки выгоняли на пастбище или ставили в хлев на всю долгую зиму. К тому времени хозяева окончательно решали, какую из буренок держать дальше, а какую сбить. И Ниске, будучи хорошо осведомлен об этих делах, наведывался приглядеть товар.

Каков был из себя этот Ниске, сказать затрудняюсь. Теперь, когда прочитан Андрей Упит («На грани веков»), а в одном польском фильме мелькнул литовский кунигас Витовт Великий, на телеэкране же всё красуются сыны Востока, сросшиеся со своими папахами и скакунами, теперь мне, пожалуй, кажется,

что он чем-то походил и на великого литовского князя (литвин отнюдь не был великаном — так, плюгавенький мужичонка), и на упитовских калмыков, и отдаленно смахивал на горцев-чабанов. Но по преимуществу облик его был все же местный, латышский, так сказать. Барашковая шапка-ушанка из тех, что шьются у нас сельскими скорняками, серый или выкрашенный ольховой корою в рыжеватый цвет накид в роде бурки. Штаны . . . Об них не стоит, выглядывало что-то ниже колен — и ладно, а вот стоптанные сапоги с высокими голенищами «гармошкой» сидели на нем как влитые.

В общем, этот Ниске был хоть и невеликого роста, зато уж весьма шустрый. Но постойте, постойте. Главное запомнил. Лицо человека. Да. И тут, что же, тут честно признаюсь: не помню ничегошеньки. Хотя если поднапрячься, то выплывают как из тумана какие-то черточки не лица даже — личика, под стать короткому росту, что-то, конечно, еврейское, но не ярко выраженное, сочное, а как бы стертое, приглушенное. Жидкая борода и глаза неопределенного цвета, вечно озабоченные, мечущиеся.

От него веяло какой-то древностью, чем-то очень необычным для наших мест. Мой старший брат Екаб — пусть земля ему будет пухом! — как-то, глянув мимоходом на Ниске, бросил:

— Этот ваш Нискис вылитый татарский полковник, только ятаган свой, чертяка, дома позабыл.

Как я уже говорил, Ниске был шустрый малый. Въехав во двор, проворно спрыгивал с гнедка, привязывал его к забору. Подальше от нашего пса, который почему-то еврея не жаловал и облаивал его пуще других чужаков, объявлявшихся на дворе. Позаботившись о лошади, Ниске решительно шел в дом, разбрызгивая грязь во все стороны. Помнится, в один из таких приездов мать встретила гостя на кухне, сидя за столом и баюкая свою больную руку.

— Здравс, хозяйка! — бодро приветствовал ее вошедший.

— Добрый день, добрый день! — ответствовала мать. — Рука болит, просто спасу нет.

— Ай-яй! — поморщился Ниске. — Куда годится, рука болит. Надо приложить какой листик, травку. Чтобы боль сняло. Ай-яй, знал бы я, что у вас такое горе, что-нибудь нашел у себя в доме. (В скобках замечу, что для Ниске латышская лексика труда не составляла, однако в его устах кулдигский говор тамского наречия чудно как-то перемешивался с еврейскими оборотами.)

— Ну, не всё так страшно! — Мать оставила свою руку в покое. — Не впервой. Перемогнусь как-нибудь.

— Вы — да. Я знаю, хозяйка, вы — да, — энергично закивал Ниске. — Все-таки когда лекарства есть, лучше.

— Присядьте, — предложила мать.

— Спасибо, хозяйка. Зачем много сидеть? Я уже сидя пришел.

Тем не менее Ниске опустился на край табурета. Поерзал, прокашлялся (без видимой нужды).

— Ну, хозяйка, вы меня давно знаете, — начал он издали. — Вы же знаете, зачем я прискочил.

— Да, да. — Мать вздохнула. — Мне ли вас не знать. Мы же почти соседи. Но разве у нас с вами что-нибудь может получиться? Опять выйдут одни стычки и недоразумения.

— Ой, маминька, что! что! — Ниске даже подпрыгнул. — Когда это мы ссорились? Я такой спокойный человек. Честный человек. Такой же крестьянин, как и вы.

— Ну да, ну да, — как бы соглашаясь с ним, покорно произнесла мать. — В вашей честности никто и не сомневается. Я бы вам свой кошелек доверила. Но у меня сегодня духу не хватает. А больше никого нет дома. Мальчонка не в счет.

— Так что? Если вы захотите скотину продать, вы же мне ее покажете. Понравится не понравится, подходит не подходит — кому какое дело. Подходит — по рукам, не подходит — я лезу назад на свою кобылу.

— Ладно. — Мать тяжело и протяжно вздохнула. — Ладно. Господь с вами. Но, пожалуйста, чтобы все было по-людски. Я вас очень прошу.

— Опять вы смешно говорите! — Ниске хлопнул кнутовищем об пол (в руках у него был хлыст, каким стегают коня на скаку). — Вы меня обижаете. Когда я не был как человек? Где это место, где я не был человек? Я тихий, спокойный, как ягненок.

— Да, да, да, — снова вздохнула мать и потянулась за своим зипуном.

Они отправились в хлев. Без меня им не обойтись! Скорехонько влезая в отцовы сапожищи, притулившиеся возле дверей, и ковыляю следом.

Перед хлевом непролазная осенняя грязь, сторожевая дворняга на длинной привязи. Чтобы попасть внутрь, надо обойти топь по краешку и протиснуться в приоткрытую дверь, обманув собаку. Так и делается. Мать подводит покупателя к Бруклене.

— Вот ее мне хотелось бы продать, — говорит она с грустью. — Хлев переполнен. И мало молока дает.

Ниске подлетает к буренушке и принимается ее мять и тискать. Будто массажист — спортсмена. Шею, спину, бока, а дольше всего щупает в паху — подбрюшье, голяшки, зад. Привыкшая ко всему скотинка стоит смиренно, не шелохнувшись, однако массаж затягивается, и она принимается негромко и жалобно мычать, с укоризной взглядывая на коротышку.

Выйдя во двор, Ниске забыл и про жижку перед хлевом, и про пса, исходящего злобой. Видать, обдумывал, хорош ли товар на ощупь. Но шагнув раз-другой, утоп до голеней в навозе и жижке и к тому же оказался в пределах досягаемости цербера. Наши собаки, хотя и не обученные сторожевому делу, дом и добро охраняли исправно, а чужаков готовые были разорвать на мелкие кусочки. Вот и сейчас, понимая службу, пес перемахнул через болотце с недвусмысленным намерением вцепиться еврею в лытки. Но тот, мал да удал, не растерялся. Черт возьми! Уж это был прыжок так прыжок! В одно мгновение Ниске выдернулся из хляби и спасся от клыков. И вот уже стоит как ни в чем не бывало посреди двора, счищает черенком хлыста с мятых сапог налипшую грязь, а на пса даже не глядит. И странно так поблескивают каре-зеленые, полные нездешней тоски глаза.

Но тут — тут грянула буря.

— Ну, сколько вы за эту корову желаете иметь? — Задавая свой вопрос, еврей не глядел на мать — он уперся взглядом в какую-то потустороннюю точку, центр его мира, где вращались в вечном кружении скот, деньги, вся жизнь.

Мать, понимая, что прозвучал сигнал к жестокой битве, все еще, однако, робела и, не рассчитывая справиться с Ниске, довольно бесстрастно назвала свою сумму.

— Ой-вэй! — вырвалось у Ниске. Он судорожно вцепился в свою шапку. — Я точно расслышал? Вы так сказали?

— Да-да, — буркнула мать, поджав губы. — Так я сказала — и так будет.

— Вэ-э-эй! — Ниске свесил голову на грудь, подперев лоб кулаком. — Я с ума спятил. Я уже глухой.

— Так слушай ухом, а не брюхом, — внезапно повеселела мать и, собравшись с силами, отчеканила: — Сто сорок латов.

Откуда она, бедняжка, могла знать, какую назвать цену? Не с потолка же ее взяла. Может, вспомнились торги прошлого или позапрошлого года, может, соседские невзначай услышанные расчеты. Что-то было у нее на уме. Или догадка осенила? Это ведь были не просто латы, не просто продавала она скот — от себя отрывала.

Ниске крутанулся волчком и сдавленно простонал «оой!». И, выпятив колесом грудь, пошел на мать.

— Это я дать не могу. Это я не дам столько. Эта корова столько не стоит. Восемьдесят. Первая и последняя цена. Смотри — я клянусь. Ни лата больше. Восемьдесят.

Мать пожевала синими губами. Пошевелила под фартуком пальцами.

— Так я и думала, — произнесла она безнадежно. — Нам не о чем говорить. У меня коровы не растут, как пырей, где придется. Ступайте с богом!

Она с трудом взошла на крыльцо, собираясь в дом.

— Хозяйка! Пстой! Поговорим с головой. — Ниске ринулся следом за матерью. — Зачем вы трещите, как сухой можжевель? Подожди! Поговорим толком.

— Чего ждать, — с печалью в голосе ответила мать. — По вашим словам судя, ждать нам нечего.

Ниске хлопнул кнутовищем по траве.

— Откуда вы, например, знаете, что у меня только такие слова бывают? Может, я по-другому буду разговаривать.

— Тогда, что ж, входите, — сжалилась хозяйка.

Ниске прошел в кухню и снова присел на табурет.

— Покушать не хотите? — спросила мать вежливо.

— Нет-т! — со злостью отрубил Ниске. — Я кушать не буду. И больше за ту корову, как восемьдесят пять, не дам. Это моя последняя цена. Разрази меня гром, если я набавлю один лат. Не нужна нам ссора, не нужна нам стычка. Я хочу тишины и покоя. Восемьдесят пять.

— Сто сорок, — устроившись возле плиты, повторила мать, холодно и твердо. — И ни сантима меньше.

— Так-так. Красиво. — Ниске ухватил себя левой рукой за бородавку. — Теперь я вижу, теперь я понимаю, что вы намерены делать. Вы намерены содрать с меня всю шкуру. Вы намерены сделать меня голым. Да, да!! — закричал он внезапно. — Я богатый, я Ротшильд, у меня карманы битком набиты. На, возьми эти соболя, забери мою царскую лошадь, мой дворец, и я голый и босый пойду по свету!

— Тише, тише! Зачем вы так, — брезгливо отстранилась мать. — Мне ничего не надо. Ни вашей шинельки, ни вашей лошаденки, ни вашего домишки. А корова — моя.

— Понял, понял! — проскрежетал Ниске. — Покажите мне эту корову еще раз, я посмотрю.

— Желание покупателя — закон для продавца, — промолвила мать, натягивая зипунец.

Ниске с опаской проскользнул в хлев и снова принялся щупать бедную корову, и так долго мял ее, что мать не выдержала:

— Вы, милейший, эту буренку доконаете.

— Мне надо знать, что я буду купить, — возразил Ниске.

— Так уж и купите? — усомнилась мать.

— Девяносто! — воскликнул Ниске, счастливо избежав трясины и собачьих челюстей.

Мать отрешенно следила взглядом за косяком курлычущих в небе журавлей.

— Сто сорок, — ответствовала она.

Ниске аж взвился. Сорвал с себя шапку и кинул ее оземь. Стал лихорадочно расстегивать шинельку.

— Бери! — кричал он ржавым голосом. — Это все, что у меня есть! Шапка, сукновка. Бери лошадь тоже! Мало? Я сейчас сниму сапоги. Мало? Я снимаю рубаху. Что вы еще хотите? Мою жизнь? Мою душу?

— Господи Иисусе! — простонала мать. — Я ничего не хочу. Покупайте эту корову или не покупайте — дело ваше, но меня оставьте в покое! Пожалуйста, не надо театра. Не надо куражиться!

— Я кураж не делаю, — зло выговорил Ниске. — Я зарабатываю хлеб. Это моя работа.

И впрямь. Может, он и не врал. Он трудился остервенело, в поте лица, с пересохшим горлом. Это была не покупка коровы, нет, отнюдь, то был нелегкий, незавидный труд.

— И я тоже, — отвечала ему моя мать. — Я тоже зарабатываю на хлеб насущный. Лично мне многого не надо. Но со мной живут люди . . . и скотину надо кормить . . . и платье справлять . . . и счета оплачивать. Я не могу уступить. Сто сорок.

Ниске затрясся, словно его озноб продрал. Постоял, качаясь будто пьяный, посреди двора и вдруг метнулся к лошади.

— Девяносто пять! — выкрикнул он, пришипорива гнедка.

— Сто сорок, — эхом откликнулась мать.

Ниске погарцевал по кругу, как бы в неведении, куда держать ему путь.

— Девяносто пять, — проорал он с пеной у рта.

— Сто сорок.

Еврей ударил кобылку пятками в бока, и она понеслась со двора, по осенней гати . . . куда же? Совсем не в сторону своего дома, а в ближний лес.

Пока мать воевала с гостем, подоспели к обеду трое мужиков — отец и мои старшие братья.

— Ах, значит, Нискис? — помешивая суп, весело проговорил Екаб. — Это не шуточки шутить. Денек у вас, мать, не из легких, это уж точно.

Она промолчала. Подал голос средний, Фрицис.

— Я вот что советую. Засунуть этого Ниску в мешок да и трахнуть башкой об дерево. Иначе он нашу мать в гроб вгонит.

— Ты лучше в тарелку смотри! — с горечью заметила мать. — Какой! Только и знает шастать взад-вперед и языком трепать. А я тут стой одна за всех. Как Давид против Голиафа.

— Что ж ты с Ниской этим связываешься! Если покупать не собирается, пусть идет своей дорогой, — вставляет отец.

— Хлебай-ка лучше суп! Не ты корову выращивал, не тебе ее продавать.

Едва мужики отобедали, по той же лесной тропе вернулся Ниске.

— Боже праведный! — воскликнула мать. — Выйдите же к нему кто-нибудь. У меня нет больше сил.

Но сильный пол ее предал. Как-то незаметно отец с сыновьями выскользнули из дому. Ниске привязал лошадь к забору и вломился в кучню.

— Я . . . рошу, дайте мне пить! — произнес он сокрушенно.

— Что желаете? Воды или кваша? — осведомилась мать.

\* Кваша, скаблутра — жидкая ячневая каша с простоквашей. Латышское национальное блюдо, излюбленное в Курземе, где происходит действие рассказа.

— Воды, — сказал еврей, разглядывая что-то в окне с частыми переплетами. Утолив жажду, он присел к столу и сцепил перед собой руки. Так и сидел молча, как истукан, минуту, другую, третью. Потом очнулся.

— Ну так что, хозяйка, будет наконец наше дело? Девяносто пять.

— Сто сорок, — устало ответила мать.

Мне стало почему-то жаль еврея. «Вот ведь какой ужас, — посетовал я про себя. — Мать тверда как камень. Могла бы и уступить». Но я не предвидел, не мог предвидеть той вспышки, которая вдруг последовала. Ниске вскочил. Лицо его пылало.

— Я вам сто сорок не дам! — прокаркал он. — Никто не даст вам сто сорок. Вы за свою корову — ваша она, ваша! — сто не получите. Ничего вы не получите. Бог вас накажет.

— Ой, ой! — Мать замахала руками, отгоняя его от себя. — Уходите! Прочь!

— Уходите?! Я не уйду! — заскрежетал Ниске. — Я тут весь день к вам подбираюсь. И когда уже вечер, меня гоняют прочь. Я хочу купить эту корову. Мне ее надо.

Прокричав эти слова, Ниске затряс головой и умолк. Потом обратился к матери со смиренной просьбой:

— Позволь мне опять посмотреть корову.

— Боже мой, странный вы человек! — передернула худенькими плечами мать. — Что там еще смотреть? Смотрено-пересмотрено, ничего нового не вымотришь.

Все же в хлев Ниске пустили. И он снова пристал к коровьим бокам, мямл их и тискал, словно хотел пальцами измерить каждый квадратный сантиметр. Этого корова стерпеть не могла. Ей было больно, и она лягнула обидчика сколько хватало ее коровьих сил. Удар пришелся Ниске пониже живота. Оой! — взвыл он и отошел. Я подумал, сейчас огреет корову хлыстом, но он этого не сделал.

— Девяносто пять, — повторил он уже во дворе.

— Сто сорок, — мать оставалась неприступна и холодна, как зимний лед.

Еврей побагровел и поспешил к лошади.

— Черта вы получите! Дерьма вы получите! — вскипел он. — Теперь я вижу. Вам нужна моя жизнь. Но вы ее не достанете. Вот вы достанете!

Показав матери кукиш, Ниске взобрался на лошадь и с криком «нэ-э-ааа!» снова погнал ее по гати в лес, в сторону Эдоле. В противоположную от собственного дома.

— Ой, боже! Весь день насмарку. Руки болят, голова болит. — Мать бессильно опустила на чурбанок возле плиты. — Кто бы мне помог. Никого. Он меня живьем съест.

То был упрек по адресу мужчин, которые вновь появились домой, рассчитывая, по всему, на полдник.

— Уехал, насовсем уехал, — попытался утешить мать Фрицис.

— В лес поскакал, — усмехнулся в рыжеватые, с искоркой, усы Екаб. — Не той дорогою. Скоро воротится.

И действительно, Ниске вернулся. Привязал кобылу на прежнее место, прошел как ни в чем не бывало в дом. Мужики скромно удалились.

— Прошу, дайте пить! — сказал еврей. И так вежливо и тихо он это сказал, будто и не ерепенился тут час назад.

— Что же вам теперь предложить: воды, кваша, может молока? — в свою очередь степенно спросила мать.



— Воды, — ответил Ниске и, схватив протянутую кружку, стал пить с жадностью. Потом он сидел за столом, словно погруженный в свои мысли, и глядел в окно на наш унылый пруд.

— Я вашу корову не покупаю, — заговорил он, взвешивая слова, как бы размышляя вслух. — Я вообще больше скот не покупаю. Я бедный человек. Я устал, выдохся, всё. Возиться со скотом — зачем это мне? Я сажаю картофель и скошу немного сена — и я могу прожить. Зачем мне ваша корова?

— Мне жаль, — вроде бы погрузилась мать, — жаль, что вас тут так замучили.

И тут Ниске снова вспылил.

— Вам жаль? Вам не жаль! Вы чертова баба! Вы грабитель! Я у вас эту корову не покупаю. Вы мне можете задаром ее отдать. Спасибо! Я не возьму. Пускай она стоит у вас, и пускай она жрет ваше сено . . . пускай она сгниет! . . . Сто латов.

— Сто тридцать, — вымолвила мать еле слышно.

— Нет, никогда! До свиданья! — Ниске кинулся к дверям. — Я не даю больше как сто, ни сантима. Я не даю, слышите? Вы и столько не получите. Сто десять! Вы слышите меня хорошо? Я сам спускаю с себя шкуру.

— Сто двадцать, — ответила мать, изнемогая. — И, пожалуйста, не будем больше об этом.

— Я не дам. По-вашему не будет. У вас только одно желание . . . чтобы сделать мне конец . . . чтобы я голый и босый . . . чтобы я со всеми своими детками пошел по дороге просить нищие деньги.

— Сто двадцать, — спокойно повторила мать, покачав на весу больную руку.

— Вы не человек . . . Вы . . . Вы . . . — Ниске запнулся. Он словно обмяк и стал что-то нашаривать во внутреннем кармане бурки. Наконец извлек оттуда перетянутую резинкой записную книжку, истрепанную и древнюю как мир, и протянул матери десятилатовую купюру в задаток.

— С вами, миленькая маминька, трудно жить. — Голос его переменялся как по мановению волшебной палочки. — Я не знаю, и как это ваш муж может вас выдержать . . . Дайте пить.

— Может, молока? Вы же весь день не ели, — заботливо спрашивает мать, и от ее слов у меня в груди делается тепло и комок подступает к горлу.

— Если вам не жалко, налейте.

Ниске осушает кружку молока и в знак благодарности повторяет, чуть ли не доброжелательно:

— С вами, хозяйка, мучение одно.

— С вами тоже, — улыбается мать. — С вами окачуриться можно.

Еврей снова загорается.

— Как вы думаете, сколько я заработаю на той корове? Ни черта я не заработаю. А мне надо заработать. Поэтому я тут круглый день верчусь с вами, как сумасшедший баран. Мне надо заработать. Где я возьму деньги? А вон где . . . там, там, — Ниске показывает хлыстом на Киммальскую корчму, белеющую над лесом. — Там целая орава, и все хотят кушать. Фамилия, мать, семья. Мне надо бороться, мне надо каждый лат держать как щипцами. Поэтому не злитесь на меня.

— Ох, как всё это мне знакомо, — вздыхает мать и, озабоченно нахмурившись, спрашивает: — Может быть, я вас действительно ободрала как липку? Может, можно еще что-то изменить?

— Бррр! — Ниске фыркает, напрочь отвергая это предложение. — Уговор дороже. Вы лечите свою руку. Привяжите к ней что-нибудь. Какой листик, травку. И не помните на меня зло.

Р. С. Нисона убили в годы гитлеровской оккупации, когда уничтожили всех до единого кулдигских евреев. Расстреляли также его жену и двоих детей. После этого расстрела на всех дорогах, ведущих в Кулдигу — из Скрунды, Айзпите, Эдоле и Вентспилса, — появились надписи «Judenfrei». Одного ребенка из этого семейства удалось спасти. Его adoptировал один кулдигский житель. Спасенный от фашистской пули живет в Эдоле, он известный в нашей округе музыкант.



Сергей Тодоров.\*\*\*



## КАФЕ ХУДОЖНИКОВ

Памяти Яна Паулюка

Перевела Наталия БАБИЦКАЯ

Пусть колесо кружится до утра,  
до той поры, когда латать хоть что-то  
вновь можно будет.

Мучает икота,  
и руки все проносят мимо рта.

Но все-таки дождался ты, и вот  
рот впитывает влагу, словно губка.  
Из дыма выплыв, спрятав хвост под юбку,  
с тобой русалка ром с лимоном пьет.

Здесь место тех, кто, не сочтя за труд,  
сработал кистью, как никто от века.  
Кафе для них — дежурная аптека,  
где срочные лекарства выдают.

К восьми сюда бредут латать судьбу.  
К двенадцати приходят просто выпить.  
Но в полночь ты, зайдясь в тяжелом хрипе,  
вон вылетаешь, в кровь разбив губу.

И карусель кружится, и в груди  
еще чуть-чуть — и все порвется в клочья.  
Но телефон сиреной грянет ночью:  
«Ян, если хочешь выпить, приходи».

И бьет озноб, и льет холодный пот,  
и вымучено каждое движение.  
Но цель твоя все ближе.

О мгновенье,  
когда, как почва, влагу ловит рот!

А завтра утром, в восемь, ты пойдешь  
опять латать дырявый угол дома,  
что все стоит, хотя сгнила солома  
на крыше

и колотит стены дрожь.

---

Ян Паулюк — выдающийся латышский художник. Карлис Падэкс и Вольдемарс Ирбе — колоритные фигуры латышской художественной жизни 1920—1930-х годов. (Прим. автора.)

Латышский поэт, прозаик, заслуженный деятель культуры Латвийской ССР Анато́л ИМЕ́РМАНИС родился в 1914 г. в Москве. Юность его прошла в Лиепве и Риге. В 1934 г. за нелегальную деятельность его арестовывают и на три года сажают в тюрьму. В годы Великой Отечественной войны А. Имерманкс работает в редакциях фронтовых газет.

Стихи публикует с 1933 г. В 1947 г. выходит первый сборник его стихов «У Даугваю». Издаются книги его стихов, сборники рассказов, романы; среди стихотворных сборников в переводе на русский язык: «Где встретатся все корабли» (1954), «Сердце и море» (1956), «Контрасты» (1962), «Земля во Вселенной одна» (1967), «Рига — Москва» (1969), «Древо познания» (1984), «Яблоко с древа познания» (1986), «Избранное» (1987).

Переводил на латышский язык стихи А. Блока, С. Есенина, И. Бехера и других поэтов. Произведения А. Имерманкса переводились на многие языки народов СССР и зарубежных стран.

Но вспомни, Ирбэ жив еще. Босой,  
он обошел весь этот мир, который  
не так заносчив, чтоб в свои просторы  
впускать обутых только.

Кто виной

тому, что, как проказой страшной, он  
до крови заражен никчемным даром?  
И пусть картинка продана задаром,  
зато у грязи даже — верный тон.

Грязь исходить, в грязи отбыть свой век,  
грязь воссоздать.

Так точно и так тонко!

И лишь тогда серебряную пленку  
поверх нее увидит человек.

Он краски пил запоем. И едва ль  
в его лицо хоть раз взгляделись дамы,  
что говорили, губки сжав упрямо:  
«Нет, это далеко не Розенталь!»

И господа, что вечером подчас  
его встречали спящим у ограды,  
рекли, сердясь: «Пусть лучше будет Падэг.  
Он все ж милей и не мозолит глаз.

Из грязи встав, он грязь с себя сотрет  
и обольется тонкими духами.  
А этот Ирбэ! Боже, вы слышали,  
он все еще малюет?! Смех берет!»

А Ирбэ все малюет. Закален  
судьбой, как сталь, под взглядами косыми,  
в лохмотья обернув ступни босые,  
он пишет, примитивный, словно стон.

Так стонет лужа в миг, когда каблук  
спешит втоптать серебряную пленку.  
И стон — в двенадцать — тем летит вдогонку,  
кому с восьми сидеть здесь недосуг.

... И ветер продувает дом насквозь,  
и не дано идти по свету прямо.  
Но рядом Ирбэ жизнь малюет рьяно,  
и все в его картинах вкривь и вкось.

И то кафе, где пьешь ты день-деньской,  
и колесо, что клонится и все же  
не падает и крутится до дрожи,  
все беды оставляя за собой,

все некрологи, что полдня спустя  
оповестят, что Ирбэ больше нету.  
И ты стоишь, до боли сжав газету,  
теперь один в том месте, где дождям

смыть не дано следов босых ступней,  
не ранивших серебряную пленку.  
А где литой каблук пробил воронку,  
лишь бледный шрам останется на ней.



## СТРАНИЦЫ НАРОДНОЙ ПОЭЗИИ

### ДАЙНЫ

Перевел Давид САМОЙЛОВ

\* \* \*

Пусть другие помирают —  
Мне покуда недосуг;  
Ведь не скошены луга  
И не убраны хлеба.

\* \* \*

Тот, кто дремлет, пусть он дремлет.  
Пусть он дремлет, слезы льет.  
А кто трудится, пусть трудится  
Да песенки поет.

\* \* \*

Я покуда горб ломала.  
Песни все перезабыла;  
Дай, Господь, мне жить полегче,  
Все их вспомню по одной.

\* \* \*

Капитал, который нажил,  
Мне покою не дает:  
Три лядящих пятака  
Рвутся вон из кошелька.

\* \* \*

Дел боятся глазыньки,  
Не боятся рученьки:  
Ноги ходят походя,  
Руки — дело делаю.

\* \* \*

Молодцы мои сынки —  
Что ни лето — три деньги,  
Зреет рожь, растет ячень.  
Вьются пчелы целый день.

\* \* \*

Буди, матушка, подпасков  
И оратаев буди:  
Соловей запел в кусточках  
Возле речки у воды.  
Возле речки у воды,  
В конце длинной борозды.

\* \* \*

Чисто поле, ровно поле —  
Чем его украсим?  
Рожь, ячень посеём,  
Ярый хмель посадим.

\* \* \*

Только в белые рубахи  
Обряжаю сыновей:  
Каждый виден на стогах,  
Словно лебедь в облаках.

\* \* \*

Белый лен пушу на вожжи.  
Серебром их изукрашу;  
Руки чисто я помою,  
Как пойду к коню с уздою.

\* \* \*

Ты, конек мой белоногий,  
Не обижу я тебя:  
Куллю легонькие санки,  
Возьму маленькую женку.

\* \* \*

Уходи скорей, ледок,  
Скорей, травка, зеленой,  
Скорей, травка, зеленой,  
Накорми в ночном коней.

\* \* \*

Ты куда бежишь-торопишься  
На зорьке, петушок?  
— Бегу девушку будить.  
Ей коровушку доить.

\* \* \*

Шустро, пчелка, обувайся,  
Выгонять телят пора,  
Ты ведь знаешь те поляны,  
Где густые клевера?

\* \* \*

Ты, волчок, куда крадешься  
Втихомолку босиком?  
За лесок, за борок,  
За овечкой в хуторок.

\* \* \*

Ах, отцовская земляка  
До чего же хороша!  
Зацветает полевица,  
Дивным цветом серебрится.

\* \* \*

Жернова тешите, братья,  
Для молощиц молодых!  
Старые-то притомились,  
Понстерлись жернова.

\* \* \*

Женушка-красавица,  
Что у тебя варится?  
— Куропатка в ельнике.  
Рыба-щука в озере.

\* \* \*

Кто, березонька, накинул  
На тебя покров зеленый?  
— Росы, росы, да туманы,  
Да весенние дожди.



**И. КОРЕМБЛАТ,**  
полковник запаса

### КОРОЛЬ БЫЛ ГОЛ

Сегодня всем людям старшего поколения известно, что Жданов и Ворошилов были такими же активными участниками сталинского террора, как и Молотов, Маленков, Каганович. Об истинном лице Жданова написано уже много. А о Ворошилове почти ничего. А он ведь один из худших.

Когда, к радости Сталина, ушел из жизни негибавший ленинец Фрунзе, надо было назначить нового наркома обороны. Сталин назвал Ворошилова. Почему?

Рассмотрим военный опыт Ворошилова. Он несколько месяцев в 1918 году командовал в Царнице 10-й армией (под руководством представителя ЦК Сталина). Затем стал наркомом внутренних дел УССР, а два-три месяца в 1919 году командовал 14-й армией. С ноября 1919 года стал членом военного совета Первой Конной армии (совместно с Е. А. Щаденко, а затем поочередно сменяющих друг друга С. К. Минным, П. П. Горбуновым, А. С. Бубновым). И все. Он не участвовал в боях против войск Деннкна, Колчака и Врангеля, не освобождал от белогвардейцев Крым и Дальний Восток. За ним лишь командование в течение считанного числа месяцев армиями. Несомненно были более достойные. Назовем некоторых:

С. С. Каменев. «С июля 1919 г. по апрель 1924 г. главнокомандующий вооруженными силами республики... Под руководством Каменева осуществлялись операции по разгрому Деннкна и Врангеля» (Воен. энциклопедия).

М. Н. Тухачевский. Командовал Южным, а затем Кавказским фронтом, в 1920—1921 гг.— Западным фронтом

в войне против Польши Пилсудского. Полководец необыкновенного таланта.

А. И. Егоров. Командовал с ноября 1918 г. 10-й армией, в 1919 г.— Юго-Западным фронтом, с февраля 1922 г.— Кавказской Краснознаменной армией.

И. П. Уборевич. Командовал 14-й, а затем 9-й армией, потом опять 14-й, затем 13-й. В 1921 г. — командующий вооруженными силами Украины и Крыма. С августа 1922 г.— главнокомандующий Народно-революционной армией при освобождении Дальнего Востока. Награжден тремя орденами Красного Знамени.

В. К. Блюхер. Военный министр Дальневосточной республики и главноком Народно-революционной армии. В 1922 г. командир-комиссар 1-го стрелкового корпуса, участник Великого Северного похода. Награжден четырьмя орденами Красного Знамени.

Можно назвать и еще несколько человек, более достойных поста наркома (И. Ф. Федько, И. И. Вацнетис, И. Э. Якир, А. И. Корк, М. К. Левандовский и др.). Правда, Егоров и Каменев — полковники царской армии, но Тухачевский лишь поручик, Уборевич — подпоручик. Почему же Сталин выбрал Ворошилова? Потому же, почему он в свое время назначал в другом ведомстве Ягоду, Ежова и Берия.

Ворошилов, выступая на VIII съезде ВКП(б), временно примыкал к военной оппозиции. Он в своем выступлении отрицал необходимость использования военных специалистов в Красной Армии. Сталин и Ворошилов в Царицыне истребляли многих невинных офицеров, честно перешедших на сторону

народа. И, наконец, самое главное — служба в Царицыне показала, что Ворошилов вполне покорен Сталину и по его указке сделает все, что будет приказано. Ворошилов оправдал надежды Сталина. В 1929 году он издал огромным тиражом работу «Сталин и Красная Армия». В ней он доказывал, что главные победы в гражданской войне достигнуты благодаря Сталину.

В ноябре 1935 г. в Красной Армии устанавливаются новые воинские звания. «Красная звезда» 21 ноября печатает Постановление ЦИК и Совнаркома СССР о присвоении новых званий. Хочется привести фамилии первых 25 человек. Ведь мы должны сохранить память о героях гражданской войны, правдивая история которой до сих пор не написана.

Приводим фамилии так, как они опубликованы в газете. От себя даем лишь даты смерти.

<b>Маршалы Советского Союза</b>	<b>Дата смерти</b>
Ворошилов К. Е., Нарком обороны СССР	2.12.1969
Тухачевский М. Н., зам. наркома обороны	11.06.1937
Егоров А. И., нач. Генштаба РККА	23.02.1939
Буденный С. М., инспектор кавалерии РККА	26.10.1973
Блюхер В. К., командующий Особой Д. Армией	9.11.1938
<b>Командармы I ранга</b>	
Каменев С. С., нач. управления ПВО РККА	26.06.1936
Якир И. Э., командующий войсками Киевского ВО	11.06.1937
Уборевич И. П., командующий войсками Белорусского ВО	11.06.1937
Белов И. П., командующий войсками Московского ВО	29.07.1938
Шапошников Б. М., командующий войсками Ленинградского ВО	26.03.1945
<b>Армейские комиссары I ранга</b>	
Гамарник Я. Б., первый зам. наркома и нач. Главного политического управления	31.05.1937
<b>Флагманы флота I ранга</b>	
Орлов В. М., нач. морских сил РККА	28.07.1938

Викторов М. В., командующий Тихоокеанским флотом август 1938

#### **Командармы II ранга**

Дыбенко П. Е., командующий войсками Приволжского ВО	29.07.1938
Левандовский М. К., командующий войсками Закавказского ВО	29.07.1938
Дубовой В. Н., командующий войсками Харьковского ВО	29.07.1938
Федько И. Ф., командующий Приморской группой войск	26.02.1939
Корк А. И., нач. Военной академии им. Фрунзе	11.06.1937
Каширин Н. Д., командующий войсками Северо-Кавказского ВО	14.06.1938
Седакин А. И., зам. нач. Генштаба РККА	29.07.1938
Алкснис А. И., начальник Управления ВВС РККА	29.07.1938
Халепский И. А., начальник автобронетанкового управления	29.07.1938
Вацетис И. И., состоит в распоряжении Наркома обороны	28.07.1938

#### **Флагманы флота II ранга**

Галлер Н. М., ком. Балтфлотом	12.07.1950
Кожанов И. К., ком. Черноморским флотом	22.08.1938

Наступают трагические для Красной Армии 1937—1939 гг. Все мы знаем, что Сталин истребил «мозг армии». Нам захотелось установить масштабы репрессий, а главное, по каким принципам Сталин одних уничтожал, а других оставлял. Оказалось, что это можно, при известном усердии, сделать по открытым советским источникам. Привожу результаты потерь в первой (высшей) сотне командного состава по состоянию званий на декабрь 1935 г.

#### **Расстреляны:**

из 5 маршалов	3
из 4 командармов I ранга	3
(пятый, С. С. Каменев, умер в 1936 г. и посмертно объявлен врагом народа)	



армейский комиссар I ранга	1
(застрелился)	
из 10 командармов II ранга	10
Из 15 армейских комиссаров II ранга	15
из 2 флагманов флота I ранга	2
из 2 флагманов флота II ранга	1

#### Репрессированы:

из 57 комкоров	52
из 5 флагманов I ранга	5

Всего из 101 человека расстреляно и репрессировано 92 (91%).

Из 186 комдивов репрессировано 130 (69%). Наивным был бы вопрос: при чем здесь Ворошилов? Ворошилов ставил, как мы знаем из партийных документов, свои подписи (этого требовал Сталин) на всех актах о приговорах командиров высшего ранга к смертной казни, а иногда и приписывал оскорбительные слова в адрес осужденных. Он дошел до того, что облегал сотрудника КГБ арест полководцев. Так, когда он для ареста вызвал в Москву Якира, тот ответил, что немедленно вылетит. «Нельзя», — сказал Ворошилов. — «выезжайте первым поездом» (Командарм Якир. Воспоминания друзей и соратников. М., 1963, с. 229). Он знал, что удобно арестовывать людей в поездах около Москвы и неудобно — на аэродромах. В недавно показанном по телевидению фильме «Объявлен врагом народа» рассказано, что офицеры комкора И. С. Кутякова (того самого, который успешно командовал 25-й дивизией после гибели Чапаева) не пустили в вагон агентов НКВД. Кутяков потребовал телефонной связи с Воро-

шиловым. Дали. Ворошилов пригласил его в гости, и, конечно, Кутяков тут же был арестован.

Аресты бывших офицеров шли и до 1937 г. Например, в Киеве была в 1930 г. арестована группа офицеров, обвинявшихся «в подготовке покушения на Якира». Якир, узнав об этом, добился их освобождения (факт описан в упомянутой мной выше книге на 109-й стр). Первый страшный удар по армии был нанесен 11 июня 1937 г. Были приговорены к расстрелу Тухачевский и еще 7 командиров. В отличие от шахтинского процесса (длился 20 дней) и бухаринского (12 дней) процесс Тухачевского длился 2—3 часа, и приговор был приведен в исполнение в тот же день.

Когда Якир попросил Ворошилова позаботиться о его семье, тот сказал: «Сомневаюсь в честности бесчестного человека вообще». Столь же жестоки и остальные резолюции Ворошилова: «Разрешаю арест», «Судить и наказать, как подобает», «Судить и расстрелять». Ворошилов не заступился ни за одного военного.

Что процесс состоялся, подтверждает Эренбург. Он рассказывает, что слышал «взволнованный рассказ комкора Белова». . . . Белов был членом Верховного суда. Он сказал: «А завтра меня посадят на их место» (Эренбург. Собр. соч., т. 9, с. 190). Эренбург ошибочно называет командарма I ранга И. П. Белова «комкором». В своем предвидении Белов не ошибся. Неясно, был ли на процессе член суда маршал Блюхер. Более чем странно, почему через 51 год после процесса не опубликован его стенографический отчет.

В 1937 г. уничтожались полководцы цветущего возраста. Так, на процессе 11 июля 1937 г. старшему, Корку, было 49 лет, а младшему — Путне — 39 лет. Тухачевский лишь на 3 года старше Жукова и Рокоссовского. Из всех репрессированных комкоров уцелел только один — А. И. Тодорский. Он рассказывал, что был на совещании у Сталина во второй половине 1938 г., когда тот, обращаясь к Ворошилову, говорил: «Клим! У тебя еще есть лейтенанты, которые могут командовать дивизиями?»

Рассказ Тодорского я слышал, когда лежал одновременно с ним в мае 1956 г. в военном госпитале. Тодорский был арестован в конце 1938 г.

<sup>1</sup> Постановлением ЦИК и Совнаркома от 20 ноября 1935 г. назначены:

маршалов Советского Союза	5
командармов I ранга	5
арм. комиссаров I ранга	1
флагманов флота I ранга	2
командармов II ранга	10
арм. комиссаров II ранга	15
флагманов флота II ранга	2

Приказами Наркома обороны в ноябре — декабре 1935 г. назначены:

комкоров	57
флагманов I ранга	5

**Всего: 102**

С. С. Каменев умер в 1936 г.

**Итого в 1937 г. 101**

Наиболее интересен список тех девяти из первой сотни, которые не были репрессированы до начала войны. Приведем их фамилии: М. А. Антонюк, И. Р. Афанасенко, О. И. Городовиков, Г. И. Кулик, С. К. Тимошенко, С. М. Буденный, К. Е. Ворошилов, Б. М. Шапошников, Л. М. Галлер.

Первые семь — это участники «царицынской обороны 1918 г.». В их личной преданности Сталин был уверен, так как произвел их в звания, которые они, как показала война, не заслуживали (за исключением С. К. Тимошенко). Шапошников Сталин оставил, понимая, что надо иметь в сухопутных войсках хоть одного человека, профессионально знающего военное дело. Для Сталина важно было и полное послушание Шапошникова, которое он доказал и в своей дальнейшей деятельности. Галлера он по этой же причине оставил в военно-морских силах (впрочем, Галлер умер в заключении, или был расстрелян, в 1950 г.).

Сталин и Ворошилов не пощадили Е. И. Ковтюха, легендарного командующего Таманской армией (прототип Кожуха в «Железном потоке» Серафимовича), единственных уцелевших кавалеров четырех орденов Красного Знамени Блюхера и Федько, командира балтийских матросов Дыбенко. Сталин заботился лишь о личной безопасности. Всегда боявшийся покушений, он в 1937 г. назначает командующим Московским военным округом М. С. Буденного. Конечно, для маршала назначение низкое, но зато опасность от военных покушений обеспечена. А это главное.

Подводя итоги, скажем, что талант, самоуважение, умение мыслить в 1937—1938 гг. были достаточной причиной для репрессий. (Конечно, в сфере, видимой Сталину.) На низших ступенях в это время росли талантливые, мыслящие, самоотверженные люди, которые впоследствии, через ошибки и потери, сумели привести Красную Армию к победе над фашизмом. Любопытно отметить звание командиров, приведших страну к победе в момент опубликования Постановления ЦИК и Совнаркома СССР в 1935 г.: Кожев, Рокоссовский, Мерецков, Соколовский — комдивы; Воронов, Жуков, Петров, Толбухин — комбриги; Баграмян, Василевский, Ватутин, Малиновский — полковники; Говоров, Еременко,

Г. Ф. Захаров — майоры; Черняховский — ст. лейтенант.

Вернемся к Ворошилову. Он сеял в армии атмосферу доносительства. В «Устав внутренней службы» 1937 г. был даже внесен и напечатан жирным шрифтом пункт: «Военнослужащий обязан беспрекословно выполнять приказание начальников, кроме явно преступных». В результате доносов ситуация среди командиров низших рангов была следующей: «С мая 1937 г. по сентябрь 1938 г. подверглись репрессиям около половины командиров полков, почти все командиры бригад и дивизий, около трети комиссаров полков, многие преподаватели высших и средних учебных заведений» (История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—1945 гг. Т. 6. М., 1965, с. 124—125).

Скупой на похвалы Г. К. Жуков очень высоко оценивает М. Н. Тухачевского, называя его «гигантом военной мысли», более чем похвально отзываясь об И. П. Уборевиче, В. М. Примакове и И. Э. Якире. Совсем иначе у него звучит оценка Буденного: «Буденный умел разговаривать с бойцами и командирами. Конечно, занятий, учений или штабных игр с личным составом он не проводил, но этого ему никто в вину не ставил» (Г. К. Жуков. Воспоминания и размышления. М., 1969, с. 101, 111, 115, 131).

Труды М. Н. Тухачевского, А. И. Егорова, С. С. Каменева, В. К. Триандофилова, И. П. Уборевича и других уничтоженных военных теоретиков объявляются предательскими, а все их военные концепции — ложными.

Как боролись с «врагами народа» в армии Сталин и Ворошилов, рассказал один военный историк: «... в середине 1937 г. на одном из военных совещаний Сталин говорил: «Вот мы с Ворошиловым приехали в Царицын в 1918 г. и в течение одной недели разоблачили всех врагов народа». Голос с места: «И всех без суда утопили в барже». После Сталина выступил Ворошилов и всежестко поддержал его, призывал доносить на своих товарищей и сослуживцев» (из выступления В. А. Анфилова при обсуждении книги А. М. Некрича «1941, 22 июня». Книга обсуждалась в феврале 1966 г. и вскоре была изъята из всех библиотек).

Армия времени Тухачевского считалась сильнейшей в мире. Советская военная школа времен Тухачевского

создала прогрессивную теорию ведения наступательных и оборонительных операций фронтового и армейского масштабов. Правильно расценивалась ею роль авиации, танков и воздушных десантов. Под руководством Егорова была основательно разработана теория ведения глубокого боя. Вот отзыв о Красной Армии зам. начальника генштаба французской армии генерала Луазо, высказанный после знаменитых киевских маневров в сентябре 1935 года. Тогда впервые в мире был выброшен с самолетов десант из 800 парашютистов. Луазо сказал: «Я видел могучую серьезную армию весьма высокого качества и в техническом, и в моральном отношениях. Ее моральный уровень и физическое состояние достойны восхищения. В отношении танков я полагаю, вы правильным считать армию Советского Союза на первом месте. Парашютный десант воинской части я считаю фактом, не имевшим прецедента в мире... Подобного мощного, волнующего прекрасного зрелища я не видел в своей жизни» (газета Киевского ВО «Красная Армия» 18 сентября 1935 г.). Слушатель академии им. Фрунзе участвовавший в этих маневрах, писал: «И сейчас поражает, насколько дальновидно были сформулированы цели. Начальный период войны показал, что если бы мы могли действовать в соответствии с теми принципами, которые отработались на этих маневрах, дело приняло бы совершенно другой оборот» (А. И. Еременко. В начале века. М., 1964, с. 8).

Немцы успешно воспользовались нашими идеями взаимодействия подвижных войск с авиацией, так же как идеями и опытом применения парашютного десанта, чего они и не скрывают (Хейдт. Парашютные войска во второй мировой войне.— В кн.: Итоги второй мировой войны. М., 1957, с. 240).

Чтобы показать значение потерь в высшем командном составе, приведу один пример. После советско-финской войны оскудение военных кадров было так велико, что Сталин разрешил выпустить несколько сот командиров, «отбывавших сроки». Среди них были К. К. Рокоссовский, К. А. Мерецков, А. В. Горбатов, С. В. Руднев.

Рокоссовский и Мерецков командовали фронтами и стали маршалами Советского Союза, Горбатов успешно командовал армией, а Руднев проявился лучшим образом как комиссар

партизанского соединения Ковпака. Не умаляя заслуг Рокоссовского и Мерецкова, нельзя не отметить, что среди уничтоженных было несколько десятков командиров, не менее опытных и талантливых, чем эти двое. Но они уже были расстреляны.

Потери высших военных кадров во время репрессий 1937—1939 гг. неиз-

меримо больше, чем потери в четырехлетней Великой Отечественной войне. Например, во время репрессий из пяти маршалов погибли три (60%) — во время Великой Отечественной войны из 13 маршалов не погиб ни один. Из 14 командармов расстреляны 13 (93%) — во время Великой Отечественной войны из примерно 20 маршалов родов войск и генералов армии погибли трое: И. Ф. Апанасенко, Н. Ф. Ватутин, И. Д. Черняховский (15%). Не считая генерала армии Д. Г. Павлова (погиб от советской пули).

Приведу мнение Г. К. Жукова о Ворошилове. «Он так до конца и остался дилетантом в военных вопросах и никогда не знал их глубоко и серьезно. Однако, занимая высокое положение, был популярен, имел претензии считал себя вполне военным и глубоко знающим военные вопросы человеком. А практически значительная часть работы в наркомате лежала в то время на Ивахачевском, действительно являвшемся военным специалистом Ворошилов очень не любил Ивахачевского и когда возник вопрос... о его аресте, Ворошилов пальцем о палец не ударил для того, чтобы его спасти» (К. М. Симонов. Заметки к биографии Г. К. Жукова. «Военно-исторический журнал», 1987, № 12, с. 42).

Как руководил наркоматом Ворошилов после 1933 года? Он совершенно потерял способность правильно восстанавливать кадры. Так, в Закавказском военном округе которым до этого шесть лет командовал М. К. Левандовский с 1937 по 194 год сменяются пять командующих: Н. В. Квиციшвиль, А. И. Егоров, И. В. Юленев, М. Г. Ефремов, Д. Г. Козлов (Закавказский военный округ, М., 1969). В Северо-Кавказском военном округе после ареста Н. Д. Каширина, командовавшего округом шесть лет за четыре года сменяются семь командующих: В. Я. Качалов, С. К. Тимошенко, С. Е. Грибов, Ф. И. Кузнецов, М. Г. Ефремов, И. Ф. Конев, Ф. Н. Ремизов (Краснознаменный Северо-Кавказский военный округ, Ростов

н/Д, 1971). В одном из ключевых, приграничных округов — Киевском, которым до ареста двенадцать лет командовал И. Э. Якир, за четыре года сменяются четыре командующих: Н. Ф. Федько, С. Н. Тимошенко, Г. К. Жуков, М. Н. Кирпонос. В другом ключевом приграничном округе — Белорусском военном округе, переименованном с июня 1938 г. в Особый, а с июля 1940 г. в Западный Особый военный округ, после расстрела И. П. Уборевича назначается М. П. Ковалев, а с июля 1940 г. генерал армии Д. Г. Павлов, успешно командовавший танковой бригадой в Испании, бывший до этого начальником Автобронетанкового управления наркомата, но не прошедшего даже школы командования стрелковой дивизией. Общевоинскими соединениями он управлять не мог. И был в июле 1941 г. расстрелян. А надо было покарать тех людей, которые назначили его на эту должность.

Единственным командующим округом, которому удалось пробыть на этой должности три года, был С. М. Буденный.

Если раньше Левандовский, Каширин, Якир, Уборевич отлично знали свой театр военных действий, хорошо знали качества командиров корпусов и дивизий, а часто и полков и батальонов, то новые командующие из-за частой смены командиров корпусов и дивизий вообще имели слабое представление об их достоинствах и плохо знали степень боевой подготовки соединений и частей. Просто не успевали узнать.

Не избежало пертурбаций и руководство Генерального штаба. С 1931 по 1937 год Генштабом руководил А. И. Егоров. После его ареста на этой должности сменилось трое: Б. М. Шапошников, К. Л. Мерецков, Г. К. Жуков. Жуков сам признавал свою неподготовленность в это время к этой должности.

И такому организационному хаосу привел Красную Армию после 1937 г. Ворошилов.

А как оуповодил сменой вооружений Ворошилов? До 1937 г. вооружениями занимался Гухачевский. После — начальник Главного артиллерийского управления «царицынец» Г. И. Кулик (ставший в 1940 г. маршалом). У него из-за его некомпетентности возникали частые трения с министерством, производящим оружие. Вот некоторые из фактов, о которых рассказал в своих

воспоминаниях нарком вооружения Б. Л. Ванников. Кулик настаивал на прекращении производства 45- и 76-мм орудий.

«Маршал Кулик, обычно легко подававшийся самым невероятным слухам и основанным на них «идеям», не сразу добился своего» (Б. Л. Ванников. Записки наркома. «Знамя», 1988, № 1, с. 139). «Вскоре меня вызвал Сталин и, показав докладную записку маршала Кулика, спросил: «Что скажете вы по поводу предложения вооружать танки 107-мм пушкой? Тов. Кулик говорит, что вы не согласны с ним». Он очень внимательно выслушал мои доводы. Сталин, обращаясь к Жданову, сказал: «Ванников не хочет делать 107-мм пушки для танков. А эти пушки очень хорошие, я с ними воевал в гражданскую войну». Замечу, что Сталин, говоря о 107-мм пушке, имел в виду полевое орудие первой мировой войны; оно, кроме калибра, ничего общего не могло иметь с конструкцией, которую нужно было создать для современных танков» (Там же, с. 140).

В результате нелепой фразы, сказанной Сталиным, комиссия, занимавшаяся этим вопросом, стала на сторону Кулика. Сталин дал указание «прекратить производство пушек калибра 45- и 76-мм и вывезти из цехов все оборудование, которое не может быть использовано для изготовления 107-мм пушек» (Там же, с. 140). Так «производство самых нужных для войны 45- и 76-мм пушек было прекращено. Ошибка оказалась еще более тяжелой, чем можно было предполагать. Дело в том, что значительное количество этих пушек... было потеряно при отступлении в первые месяцы войны. Но как только развернулись военные действия, Сталин увидел, что была допущена непростительная ошибка» (Там же, с. 141).

Но новое производство 45- и 76-мм пушек было начато лишь в конце второго полугодия 1941 г.

Второй пример. Кулик настаивал на смене нашего пулемета Дегтярева японским. «Мы, работники наркомата вооружения, высказались против этого...» «...начальник ГАУ (Кулик), желая продемонстрировать действие японского магазина, лег на пол и очень осторожно открыл и закрыл крышку.

Это ни о чем не говорило. Поэтому с разрешения руководившего совещанием К. Е. Ворошилова, я тоже лег на

пол, открыл крышку и, положив на ребро стенки магазина толстый шестигранный цветной карандаш, отпустил крышку. Крышка с большой силой хлопнулась и разрубила карандаш.

— Так будет,— сказал я,— с пальцем пулеметчика при неосторожности...

Совещание не поддержало предложения о замене ДП японским образцом» («Знамя», 1988, № 2, с. 141).

Таких трений некомпетентного Кулика с наркоматом вооружения было множество. Б. Л. Ванников отмечает, что наши ошибки в вопросе вооружения были «исключительно результатом принятых в спешке решений, подчас продиктованных не знаниями и опытом, а дилетантским верхоглядством» (Там же, с. 159).

Любопытна судьба Кулика. Маршал Кулик, назначенный командующим армией, попал в окружение и вышел из него в крестьянской одежде, без документов. За это Сталин снизил его в звании с маршала до генерал-майора.

И все же через некоторое время назначил его вновь командующим другой армией. Никаких лавров он своей военной деятельностью не стяжал.

В 1950 г. он чем-то не угодил Сталину и был расстрелян (или умер в заключении) 24.08.1950 г. В 1957 г. реабилитирован.

Ворошилов плохо готовился к неизбежной войне с Германией. Не без его вины после освобождения Западной Украины и Западной Белоруссии были почти полностью выведены из строя укрепленные районы, состоящие из долговременных сооружений по всей старой границе страны. Вот что пишет о Киевском укрепленном районе маршал И. С. Конев. «Киевский укрепленный район, который строился еще в мирное время, был в запущенном состоянии, все заросло травой и бурьяном, пулеметные и артиллерийские бетонированные сооружения не имели оружия. Видимо, в последние годы считали, что Киевский УР не нужен. Не хочу кого-либо в этом обвинять, но получилось так, что новые УРы по государственной границе еще не были готовы, а старые были уже в состоянии, мягко говоря, консервации» (И. С. Конев. Воспоминания. «Знамя», 1987, № 11, с. 32). Мы тоже, как и Конев, не знаем, кого надо обвинять, но вина Ворошилова как наркома обороны несомненна.

В январе 1941 г. Конева назначают

командующим Северо-Кавказским округом. Он знакомится с обстановкой, и в результате «... я пришел к выводу, что Северо-Кавказский военный округ не готовился к войне» (Там же, с. 30). Но ведь это явно относится и ко всем другим внутренним военным округам.

Ворошилов не был ни стратегом, ни военным теоретиком. Он даже не имел военного образования. А ведь его однополчанин Кулик окончил Военную академию им. Фрунзе, Тимошенко дважды (в 1922 и 1927 гг.) учился на Высших академических курсах командиров-единоначальников. Апанасенко окончил Военно-академические курсы Военной академии им. Фрунзе. Ворошилов после 1937 г. опубликовал две книги. Одна называлась «Сталин и строительство Красной Армии» (М., 1939); другая — «Сталин и Вооруженные Силы СССР» (М., 1950).

Мы прочли все его речи от 1937 г. до момента его снятия с поста наркома в мае 1940 г. после наших неудач в советско-финской войне. Они удивительно однообразны. Сначала славословия Сталину, затем гром и молнии против врагов народа и, наконец, утверждение о несокрушимости наших границ. Приведем выдержку из его речи на митинге воинских частей Минского гарнизона 8.12.1937 г.: «Наша партия Ленина—Сталина, великий Сталин лично создали и всегда крепят мощь Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Одновременно наша партия вела и ведет жесточайшую борьбу со всеми врагами народа. Она корчует подлые гнезда вредителей, предателей, изменников присяге Родины... Враги должны быть выкорчеваны все без остатка, и мы их выкорчем!» («Знамя», 1938, № 2, с. 8—10). Вслед за речью журнал опубликовал стихотворение С. Стальского о Ворошилове, начинающееся словами: «Железный маршал, мира страж».

Ворошилов, отбросив старые концепции о решающей роли в наступлении танков, авиации и воздушных десантов, новой концепции не создал. Но свое мнение о родах войск высказал. В речи на заседании Моссовета 22.02.1938 г. он перечислял задачи и значение различных родов войск. «Конница во всех армиях мира переживает кризис, почти сошла на нет. Одни считают, что конница в будущей войне не найдет своего места. Мы стоим на иной точке зрения. Мы убеждены, что наша доблестная

конница еще не раз заставит о себе говорить как о мощной и победоносной красной кавалерии. Красная кавалерия по-прежнему является победоносной и сокращающей военной силой и может и будет решать большие задачи на всех боевых фронтах» (К. Е. Ворошилов. Красная Армия на защите социалистической Родины. — Речи, приказы, приветствия. М., 1939, с. 38—39).

О танках: «Танковые войска будут играть в войне большую и серьезную роль» (Там же, с. 39). Об авиации: «Я должен сказать, что воздушные силы не отстают от других наших родов войск, а кое в чем их опережают» (Там же, с. 41).

И далее успокаивающие фразы о мощности Красной Армии. А речь кончается неизменно: «Да здравствует наш великий Сталин».

О воздушно-десантных частях Ворошилов не говорит, потому что он попросту их расформировал.

Отсутствие понимания особенностей современной войны, опора на традиции гражданской войны, выражающаяся в непомерно высокой оценке конницы, — вот и все, что сумел дать Ворошилов своей армии.

Почему я считаю Ворошилова одним из худших соучастников Сталина? Потому что он, будучи наркомом обороны, безжалостно способствовал уничтожению ценнейших кадров. И поэтому неизбежно соглашался на уничтожение своих личных друзей. Подрывал корни дерева, на котором сидел.

Ворошилов в 1957 г. вместе с Молотовым, Маленковым Кагановичем пытался снять Н. С. Хрущева с поста секретаря ЦК КПСС, так как они боялись разоблачения их роли в «культе личности». Первых трех исключили из партии, а Ворошилов «пустил слезу», забормотал о «раскайнии», и Хрущев, будучи человеком непоследовательным, пожалел его.

## ПРИМЕЧАНИЕ

Мои данные о потерях получены в 1980—1981 гг. Что показывает их сравнение с данными А. И. Тодорского, приведенными в письме Э. Генри к Эренбургу? По данным Тодорского («Дружба народов», 1988, № 3, с. 233—234), из 4 командармов I ранга репрессировано 2. На самом деле расстреляно трое: Якир, Уборевич, Белов. Несомненно, Тодорский это знал. Очевидно, что это никем не замеченная опечатка машинистки (как ни странно, в «Военно-историческом журнале» за 1988 год, № 11, эта ошибка повторяется). Вторая ошибка — самого Тодорского. Он не вводит в свой реестр флагманов флота II ранга (приравненных к командармам) и флагманов флота (приравненных к комкорах). Несмотря на разницу в отправных точках (я привожу потери по состоянию на декабрь 1935 г., а Тодорский — по состоянию на более поздний, неизвестный год) проценты подсчитанных нами потерь очень близки. У меня потери комкоров равны 93%, у Тодорского — 90%, у меня потери комдивов равны 69%, у Тодорского — 68%. Разница может происходить от года отсчета или от какой-то незначительной ошибки. Преимущества данных Тодорского сравнительно с моими в том, что он указывает потери среди корпусных комиссаров, комбригов, бригадных комиссаров, по которым я данных не имею.

Вполне допускаю, что где-то я одного или двух уцелевших комкоров пропустил. Но такая ошибка никак не влияет на содержание статьи и на выводы, которые из нее можно сделать.

## БЕРТРАН РАССЕЛ И ЕГО «ИСТОРИЯ ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФИИ»

Во времена студенческой молодости Рассела был популярен следующий каламбур: *What is matter? — Never mind. What is mind? — No matter.* Это не было лишь игрой слов. Кризис традиционных вопросов философии (*What's matter* *What's mind?*) символизировал конец викторнанской эпохи не только в социальной истории, но и в истории мысли. На место традиционных вопросов онтологии, метафизики, этики вставали проблемы логического анализа языка науки, пересмотр основных понятий и имен в истории философии. Передовыми философскими дисциплинами стали математика и логика.

Научная и философская деятельность лорда Бертрана Рассела (1872—1970) протекала в центре этих проблем. Потомственный английский аристократ (его дед, лорд Рассел, был автором билля о правах), один из учителей Людвиг Витгенштейна, создатель основополагающего труда по математической логике «*Principia Mathematica*» (в соавторстве с Альфредом Уайтхедом, замечательным мыслителем, одним из столпов философии неореализма), создатель концепции логического атомизма, ниспровергатель религиозных авторитетов, борец за мир против ядерной войны, нобелевский лауреат 1951 года, человек, олицетворяющий наиболее светлые и здоровые корни культуры XX столетия, личность чрезвычайно многогранная и полная обаяния — таким предстает перед нами Бертран Рассел.

«Что есть материя? — Неважно (дословно: не разум). Что есть разум? — Не имеет значения (дословно: не материя).

В современную логику и аналитическую философию Рассел вошел прежде всего как создатель тех оригинальных концепций, своеобразных интеллектуальных изобретений — теории типов, теории дескрипции и концепции пропозициональных установок.

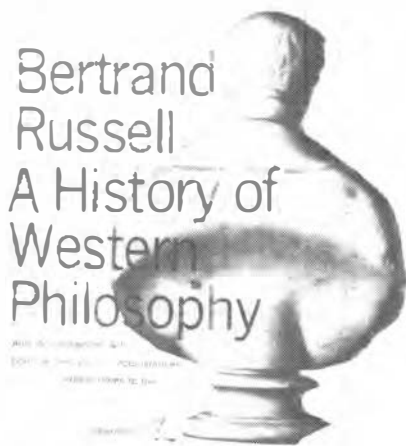
Теория типов позволила решить один из парадоксов теории множеств. В качестве примера можно привести знаменитый парадокс лжеца, когда критянин говорит, что все критяне лжецы: если он говорит правду, то тем самым он лжет, так как он сам принадлежит к множеству критян, а если он лжет то, значит, неверно, что критяне лжецы, что также противоречиво. Рассел ввел правило, в соответствии с которым критянин, будучи автором высказывания, принадлежит к множеству более высокого порядка (или типа) и поэтому не принадлежит к тому множеству критян-лжецов, о котором говорится в его высказывании.

Теория определенных дескрипций позволила решить один из интересных логико-философских парадоксов — парадокс сингулярного существования. Например, с одной стороны, мы знаем, что Пегас не существует, но ведь, с другой стороны, мы можем говорить о Пегасе — стало быть он как-то существует в нашем сознании. Рассел решил эту проблему следующим образом. Он считал, что все собственные имена являются на самом деле скрытыми описаниями (дескрипциями). То есть скажем, Пегас представляет собой скрытую дескрипцию «крылатый конь». И тогда фраза о существовании Пегаса не приводит к противоречию. Она анализируется так, что существует X, яв-

являющийся конем, и существует У являющийся крылатым существом и при этом не существует такого Л, которое одновременно было бы конем и крылатым существом

Чрезвычайно плодотворную судьбу имела расселовская концепция пропозициональных установок суть которых состоит в следующем. Допустим, некто А говорит, что идет дождь, а некто В с этим не согласен и полагает что дождь не идет. Взятые сами по себе эти высказывания поотивоочивь, не поскольку они являются только мнениями то им можно предпослать конструкции «А думает» и «В считает» и т. д. которые Рассел и назвал пропозициональными установками. Все высказывания речевой деятельности окружены различными контекстами мнения что порождает к реальной картине человеческого ощущения которое на самом деле полно несогласованности и поотивоочивьи концепция пропозициональных установок стимулировала современные теории семантики возможные миры Я. Анттики и Крипки.

Теории Рассела не претендовали на универсальность они лишь открывали возможности для решения определенных логико-философских проблем. Рассел принципиально не глузок, его кредо заключается в том, что он хочет не углубляться в философские дебри, а выявить сущность обычного человеческого взгляда на вещи. С этой меркой он подходит и к историко-философским вопросам. Он смотрит на мыслителей прошлого глазами своего интеллигента XX века то есть глазами своего читателя. Он критикует Канта или Локка Руссо или Ницше, условно отстраняясь от той культурной среды которая породила системы их взглядов. Он как бы говорит, давайте посмотрим на них с точки зрения обычного здравого смысла вполне оядового по своим установкам, не обладающего ясным умом и доброй волей. И тогда мы увидим что одно в учении Локка вызовеприязнь и уважение а другое например его высокомерие, мрачность, нетерпимость к фаоисеям, не сможет не вызвать недоверия или осуждения. Рассел сохраняет полную дооожелательность и невозмутимость, говоря о том что Канта обычно считают величайшим философом но он Рассел, не вполне с этим согласен по таким-то и таким-то причинам



При этом Рассел не скрывает своих симпатии и антипатии. Ему симпатичен оедным последовательным и верным себе Спиноза, умный и терпимый Эпикур с его меланхолической этикой, говооющен что хотя мир полон страданий но если страдание очень сильно то оно коатковременно, а если оно длится долго то его как правило, можно теопеть. Он открыто подсмеивается над християнской теологией, явную антипатию к нему вызывают Руссо, Шопенгауэр и Ницше. Он смотрит на философов как на живых людей. Кант раздражает его свое самовлюбленностью Руссо — личной непорядочностью и цинизмом. Наиболее сложное к нему отношение к Лейбницу, глава о котором — одна из наиболее ярких в его «Истории западной Философии». Рассел показывает что существовало как бы два Лейбница, один — придворный льстец, автор экзотерической системы, и другой — глубокий мыслитель втайне построивший эзотерическую концепцию во многом предвещающую совооенные построения в области математической логики и семантики возможных миров.

Немецкие философы раздражают его своей надутостью, он предпочитает им родную британскую традицию —



Джона Локка и Дэвида Юма. Байрону он посвящает целую главу, а Фихте и Шеллингу — всего несколько строчек.

Это джентльменское аристократическое пренебрежение к устоявшимся мнениям весьма подкупает читателей его книги. Интеллектуальная основа воззрения Рассела — здоровая, неболезненная. В споре между разумом и интуицией он решительно берет сторону разума. Всяческое проявление мистицизма в ущерб логике ему неприятно. Рассел за то, чтобы обо всем можно было сказать достаточно ясно и убедительно, за здоровый обмен мыслями. В этом отличие Рассела от его ученика Витгенштейна, для которого всегда важна была идея принципиальной невысказанности самого главного.

Рассел не был великим философом, он не создал глубокой универсальной концепции — ни обращенной к мистике (как Витгенштейн), ни полностью ломающей все представления псевдофилософии при помощи беспощадного логического анализа (как Рудольф Карнап). Рассел не был философом элиты, он всегда писал прежде всего для людей. Поэтому его в равной мере занимали и математическая логика, и богословские дискуссии со священнослужителями, и борьба против ядерной войны. Он охотно делился с чи-

тателями своими воспоминаниями, впечатлениями от прочитанных книг, рассказывал сны. Однажды, писал Рассел в книжке «Fact and Fiction» (Факты и выдумки), ему приснился Бог, который предложил ему выполнить любое его желание. Когда же Рассел попросил подарить ему вполне конкретную вещь, Бог извинился и сказал, что, к сожалению, он уже подарил эту вещь другому человеку. С тех пор, говорит Рассел, Бог ему больше не снился.

«История западной философии» Рассела не является строго научным трудом, она уникальна по жанру. Ее даже нельзя назвать научно-популярной. Скорее она по своей риторической «наивности» напоминает историко-философские опусы неоплатоника Порфирия или Диогена Лазерция. Книга эта, изданная в СССР в 1959 году малым тиражом и разошедшаяся по библиотекам, не выполнила своей читательской функции. Предлагаемая ниже публикация главы о Карле Марксе, естественно, не вошедшей в советское издание, с одной стороны, устраняет важную купюру, а с другой — является призывом к новой публикации этой книги, которая стала бы доступной для самого широкого читателя, для которого она и предназначена.

**В. РУДНЕВ**

## **ФИЛОСОФСКИЕ СОЧИНЕНИЯ БЕРТРАНА РАССЕЛА, ИЗДАНИЕ В СССР**

1. Проблемы философии. — Пг., 1906.
2. Человеческое познание: Его границы и сфера. — М.: Изд-во иностр. лит., 1957.
3. История западной философии. — М.: Изд-во иностр. лит., 1959.
4. Почему я не христианин: Избранные атеистические сочинения. — М.: Политиздат, 1987.
5. Дескрипции. — В кн.: Новое в зарубежной лингвистике, выл. XIII. Проблемы референции. М.: Прогресс, 1982, с. 41—55.

# КАРЛ МАРКС

В Карле Марксе обычно видят человека, утверждавшего, что он придал социализму научный характер, и сделавшего больше кого бы то ни было для создания мощного движения, которое, привлекая одних и отталкивая других, доминирует в новейшей истории Европы. В рамки настоящей работы не входит, кроме как в самых общих чертах, разбор его экономических воззрений или политических взглядов. Я предполагаю охарактеризовать его лишь как философа и рассмотреть его влияние на философию других. В этом смысле классифицировать его непросто. В одном аспекте он является, как Годскин<sup>1</sup>, продуктом философских радикалов и продолжает их рационализм и их оппозицию против романтиков. В другом плане он возвращается к жизни материализм, придавая ему новое толкование и по-новому связывая его с историей человечества. В третьем плане он является последним из основателей великих систем, преемником Гегеля, верившим, как и тот, в некую рациональную формулу, суммирующую эволюцию человечества. Если сделать ударение на любом из этих аспектов в ущерб другим, это приведет к превратному и искаженному толкованию его философии.

Эта многоплановость объясняется отчасти обстоятельностью его жизни. Как и Св. Амвросий<sup>2</sup>, он родился в Трире в 1818 г. В революционную и наполеоновскую эпохи Трир подвергся сильному французскому влиянию и по воззрениям своим сделался куда космополитичней большинства других германских областей. Предки Маркса были раввинами, однако родители его перешли в христианство, когда он был ребенком. Женился он на аристократке из христиан и оставался ей предан до конца дней своих. В университете он подпал под влияние все еще господствовавшего тогда гегельянства, а также материалистического бунта Фейербаха против Гегеля. Он испробовал себя в журналистике, однако редактировавшуюся им «Рейнскую газету» власти прикрыли за радикализм. Вслед за этим, в 1843 г., он отправился во Францию изучать социализм. Там он встретил Энгельса, служившего управ-

ляющим на одной из манчестерских фабрик. Через Энгельса Маркс познакомился с положением рабочих в Англии и с английскими экономическими воззрениями. Таким образом, еще до революции 1848 г., он обзавелся на редкость интернациональным культурным багажом. Что касается Западной Европы, он национальных предрассудков не высказывал. Другое дело Европа Восточная, ибо Маркс всегда относился к славянам пренебрежительно.

Он принял участие и во французской, и в немецкой революциях 1848 г., однако в 1849 г. реакция заставила его искать прибежища в Англии. Остаток жизни он провел, с редкими перерывами, в Англии, преследуемый нищетой, недугами и смертью детей, но тем не менее он неустанно писал и накапливал знания. Труды его всегда вдохновлялись упованием на социальную революцию — если не при жизни, то в самом недалеком будущем.

Как и Бентам<sup>3</sup> и Джеймс Милль<sup>4</sup>, он не желал иметь ничего общего с романтизмом; он всегда стремился быть научным. Экономические его воззрения являются продуктом классической английской экономики; заменена лишь побудительная сила. Сознательно или бессознательно, классические экономисты неслись о благополучии капиталиста — в отличие от помещика или наемного работника; Маркс, напротив, вознамерился представлять интересы наемного работника. Как можно понять из «Коммунистического манифеста» (1848 г.), в юности у него доставало и пыла, и страсти для создания нового революционного движения; во времена Мильтона ими обладал либерализм. Однако он всегда стремился апеллировать к фактам и никогда не опирался на некую лежащую за пределами науки интуицию.

Он называл себя материалистом, но не материалистом в духе XVIII в. Свой материализм он называл под влиянием Гегеля «диалектическим», и этот материализм существенно отличался от традиционного, более походя на то, что называют теперь инструментализмом. Старый материализм, говорил он, ошибочно считал ощущения пассивными и таким образом приписыв-

вал активность в первую очередь объекту. С точки зрения Маркса все ощущения или чувственные восприятия суть взаимодействие между субъектом и объектом; голый объект вне активности воспринимающего его, есть лишь сырой материал, который трансформируется в процессе познания. Знание в старом значении пассивного созерцания есть нереальная абстракция; на самом деле происходит процесс обращения с вещами (*bandling things*).

«Вопрос о том, обладает ли человеческое мышление предметной истинностью,—вовсе не вопрос теории, а практический вопрос,—писал он.— В практике должен доказать человек истинность, т. е. действительность и мощь посостороннего своего мышления. Спор о действительности или недействительности мышления, изолирующегося от практики, есть чисто схоластический вопрос». Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его».

Мы можем, я полагаю, интерпретировать здесь Маркса в том смысле, что процесс, который философы называют поисками знания, не является, как думали раньше, процессом, в котором объект постоянен а изменение (*adaptation*) осуществляется познающим. Напротив, и субъект и объект, и познаваемое, и познающий участвуют в непрерывном процессе взаимного изменения. Маркс называет этот процесс «диалектическим», поскольку он никогда не достигает полного завершения.

Существенным моментом этой теории является отрицание реальности «ощущения», как его понимали английские эмпирики. В ситуации, которая более близко соответствует их понятию «ощущения», происходит то, что лучше было бы назвать «актом замечания» (*noticing*) вещей, а это подразумевает активность. По сути дела, заявлял Маркс, мы замечаем лишь вещи в процессе действия по отношению к ним, и любая теория, выпускающая из виду действие, есть сбивающая с толку абстракция.

Насколько я знаю, Маркс был первым философом, критиковавшим понятие «истины» с такой акцентирующей действие точки зрения. Но слишком подробно он на этой критике

не останавливался, и поэтому я здесь больше говорю о чем не буду и оставлю обзор этой теории на одну из последующих глав.

Философия истории Маркса есть смесь гегельянства и английского экономического построений. Подобно Гегелю, он считает что мир развивается в соответствии с диалектической формулой, однако он совершенно расходится с Гегелем в вопросе о движущей силе этого развития. Гегель верил в мистическое нечто, называемое «духом», который вызывает развитие истории человечества в соответствии с диалектическими стадиями, разработанными в гегелевской «Науке логики». Зачем Духу надобно проходить все эти стадии, неясно; напрашивается предположение, что Дух титится понять Гегеля и на каждой стадии эцвертя голову объективирует то, что успел прочесть. Не считая известной неминуемости, в диалектике Маркса никаких таких свойств нет. По Марксу, движущей силой является не дух, а материя. Однако это материя в том своеобразном смысле слова, который мы здесь рассматривали, а не полностью безликая материя атомистов. Это значит, что, по Марксу, движущей силой на самом деле является отношение человека к материи, наиболее важная часть которого есть присущий ему способ производства. Таким образом, на практике материализм Маркса становится чисто экономическим.

Политика, религия, философия и искусство любой исторической эпохи являются, с точки зрения Маркса, продуктами присущего ей способа производства, и, в меньшей степени, распределения. Я думаю, он не стал бы доказывать, что это относится ко всем тонкостям культуры, а не только лишь к ее самым широким очертаниям. Эта доктрина называется «материалистическим пониманием истории». Тезис этот весьма важен; в особенности он касается историка философии. Я лично не разделяю этого тезиса в его нынешнем виде, но думаю, что он содержит весьма важные элементы истины, и отдаю себе отчет в том, что он повлиял на мои собственные взгляды на развитие философии, высказанные в настоящей работе. Рассмотрим для начала историю философии в ее отношении к учению Маркса.

Говоря субъективно, всякому фило-

\* «Тезисы о Фейербахе».

софу кажется, что он занимается поисками того, что можно назвать «истиной». Философы могут расходиться по поводу определения «истины», однако в любом случае она есть нечто объективное; нечто такое, что в том или ином смысле должен принять каждый. Никто не стал бы браться за философский поиск, если бы думал, что вся философия есть всего-навсего отражение иррациональных предрассудков. Однако всякий философ согласится, что многие другие философы движимы предрассудками и что немало их воззрений имеют под собою нерациональное основание, о котором те обычно сами и не подозревают. Как и все прочие, Маркс верит в истинность своих собственных доктрин и не смотрит на них лишь как на отражение настроений, свойственных мятежному немецкому еврею из буржуазной среды в середине XIX века. Что можно сказать об этом конфликте между субъективной и объективной точками зрения на философию?

В самом широком смысле мы можем сказать, что греческая философия вплоть до Аристотеля выражала умонастроение, свойственное городу-государству; что стоицизм соответствовал космополитическому деспотизму; что схоластическая философия суть умозрительное выражение Церкви как организации; что философия, начиная с Декарта или, во всяком случае, с Локка, стремится воплощать предрассудки торговой буржуазии и что марксизм и фашизм есть философии, соответствующие современному индустриальному государству. Все это, я полагаю, верно и немаловажно. Я думаю, однако, что Маркс не прав в двух отношениях. Во-первых, общественные обстоятельства, которые следует принимать во внимание, являются настолько же политическими, насколько экономическими. Они связаны с властью, а богатство есть лишь одна из многих форм ее. Во-вторых, социально обусловленная причинность в большой степени перестает действовать, как только проблема становится детализированной и специальной (technical).

Первое из этих возражений я высказал в книге «Власть» и поэтому останавливаться здесь на нем не буду. Второе касается истории философии более тесно, и я приведу несколько примеров его диапазона.

Возьмем, во-первых, проблему универсалий. Проблему эту сперва рассматривал Платон, потом Аристотель, схоластики, английские эмпирики и большинство современных логиков. Было бы абсурдно отрицать, что предрассудки наложили отпечаток на воззрения философов по этому вопросу. На Платона оказали влияние Парменид и орфизм, он жаждал, чтобы мир природы был вечен, и не мог поверить в доподлинную реальность потока времени. Аристотель смотрел на дело более эмпирически и не питал отвращения к повседневному миру. Современные радикальные эмпирики имеют предрассудки, прямо противоположные платоновским: они находят мысль о сверхчувственном мире малопривлекательной и готовы пойти на многое, чтобы избавиться от необходимости в него верить. Однако эти противостоящие виды предрассудков вечны и находятся в несколько отдаленной связи с общественным строем. Говорят, что любовь к вечному есть характерная черта праздного класса, живущего чужим трудом. Сомневаюсь, чтобы это было справедливо. Эпикут и Спиноза людьми праздными не были. Можно утверждать, что, напротив, представление о рае как о месте, где никто ничего не делает, принадлежит утомленным труженикам, не желающим ничего, кроме отдохновения. Такую аргументацию можно тянуть до бесконечности, и не ведет она никуда.

С другой стороны, когда мы подойдем к деталям спора об универсалиях, мы обнаружим, что каждая сторона может придумать доводы, истинность которых признает другая сторона. Некоторые критические высказывания Платона против Аристотеля по этому вопросу принимаются почти всеми. Хотя к решению пока не пришли, совсем недавно была разработана новая техника доказательств и были разрешены многие побочные проблемы. Можно вполне рационально надеяться, что в ближайшем будущем логики достигнут по этому вопросу окончательного согласия.

Возьмем в качестве второго примера онтологическое доказательство. Как мы видели, оно было придумано Аристотелем, отвергнуто Фомой Аквинским, принято Декартом, опровергнуто Кантом и снова восстановлено в правах Гегелем. Думаю, можно со всей ре-

шительностью сказать, что в результате анализа понятия «существование» современная логика доказала несостоятельность этого доказательства. Это вопрос не темперамента или общественного строя; это вопрос чисто технический. Опровержение доказательства не дает, разумеется, никакой почвы для предположения, что неверен его вывод, а именно существование Бога; в противном случае мы не могли бы предположить, чтобы Фома Аквинский отверг это доказательство.

Или возьмем проблему материализма. Слово это многозначно; мы видели, что Маркс радикально изменил его значение. Жизнеспособность жарких дебатов по поводу его истинности или ложности покоится в немалой степени на уклонении от определения его. Когда термину будет наконец дано определение, выяснится, что в рамках некоторых возможных его дефиниций материализм очевидно ложен, в соответствии с другими он может быть истинен, хотя думать так положительных оснований нет, тогда как в свете третьей группы определений материализма некоторые аргументы говорят в его пользу, хотя и не носят окончательного характера. Все это опять же зависит от соображений технических и не имеет никакого отношения к общественному строю.

Суть дела вообще-то весьма проста. То, что зовут в обиходе философией, состоит из двух совсем разных элементов. С одной стороны, имеются вопросы научного или логического порядка; решение их поддается методам, насчет которых имеется всеобщее согласие. С другой стороны, существуют вопросы, представляющие собою предмет страстного интереса для больших групп людей, и крепких доказательств их истинности или ложности нет. В числе последних имеются практические вопросы, стоять в стороне от которых невозможно. В случае войны я должен поддерживать свою собственную страну — или вступить в болезненный конфликт с друзьями и с властями. Нередко бывали времена, когда не было среднего пути между поддержкой и отрицанием официальной религии. По тем или иным причинам все мы оказываемся не в состоянии отнестись со скептической отстраненностью ко многим проблемам, о которых молчит чистый разум. «Философия» есть в самом обиходном смысле

слова органическое целое, состоящее из таких нерациональных решений. Именно в отношении «философии» в этом ее значении положения Маркса в большой степени верны. Но даже в этом смысле философию определяют не только экономические, но и другие социальные обстоятельства. Война в особенности имеет свою долю исторической причинности, и победа в ней не всегда является уделом стороны с наибольшими экономическими ресурсами.

Маркс приспособил свою историю философии к шаблону, подсказанному гегелевской диалектикой, однако на самом деле заботила его всего лишь одна из триад: феодализм, представляемый помещиком; капитализм, представляемый промышленником-работодателем; и социализм, представляемый наемным работником. Гегель считал носителями диалектического движения нации; Маркс поставил на их место классы. Он всегда отметал любые этические или гуманистические причины для того, чтобы предпочесть социализм или встать на сторону наемного работника; он говорил не то, что эта сторона выше этически, а то, что ее приняла в своем полностью детерминированном движении диалектика. Он мог бы сказать, что не проповедует, а лишь предсказывает социализм. Это, однако, было бы не совсем верно. Он несомненно верил, что любое диалектическое движение в каком-то безличном смысле прогрессивно, и, безусловно, думал, что по своему утверждению социализм сделает для счастья человечества больше, чем сделали феодализм и капитализм. Хотя убеждения эти скорее всего управляли его жизнью, в сочинениях его они пребывали большей частью на заднем плане. Временами, однако, он забрасывал свои невозмутимые предсказания и начинал с жаром призывать к бунту, и в сочинениях его за научными на первый взгляд прогнозами проступает эмоциональная подоплека.

Если рассматривать Маркса как чистого философа, у него имелись серьезные недостатки. Он слишком практичен, слишком погрязает в проблемах своего времени. Взгляд его не отрывается от нашей планеты, а на ней — от человека. Еще с Коперника сделалось очевидным, что человек не обладает той космической важностью, которую он себе прежде приписывал. Не-

способный усвоить это обстоятельство не имеет права называть свою философию научной.

Рука об руку с этой стесненной делами земными идет готовность уверовать в прогресс как во всеобщий закон. Готовность эта была характерна для XIX века и имелась у Маркса не в меньшей степени, чем у его современников. Именно из-за веры в неизбежность прогресса Маркс счел возможным отделаться от этических соображений. Если социализм наступит, это будет шагом вперед. Он с готовностью признал бы, что помещикам и капиталистам он шагом вперед не покажется, однако это лишь демонстрировало бы, что они отстают от диалектической поступи своего времени. Маркс величал себя атеистом, но сохранял космический оптимизм, оправданием которого мог быть лишь теизм.

Говоря в самом широком плане, все почерпнутые у Гегеля элементы Марксовой философии ненаучны — в том смысле, что нет совершенно никаких оснований предположить их истинность.

Возможно, что философское обличье, которое придал Маркс своему социализму, на самом деле имело мало отношений к основанию, на котором покоились его воззрения. Нетрудно перебрать наиболее значительные его положения, ни разу не прибегая к диалектике. Его сильно задела отталкивающая жестокость господствовавшего столетие назад в Англии промышленного строя, с которым он ослепительно познакомился через Энгельса и отчеты королевских комиссий. Он видел, что строй этот скорее всего эволюционирует от свободной конкуренции к монополиям и что его несправедливости породят бунтарское движение пролетариата. Он утверждал, что в развитом индустриальном обществе единственной альтернативой частному капитализму явится государственная собственность на землю и капитал. Ни одно из этих положений к предмету философии не относится, и посему я не стану рассматривать их истинность или ложность. Суть дела в том, что если они верны, то их достаточно, чтобы составить важнейшие в практическом смысле положения его системы. Поэтому их гегельянское обрешение можно с выгодой отбросить.

История репутации Маркса своеобразна.

На родине его доктрины вдохновили программу социал-демократической партии, которая постоянно росла до тех пор, пока не набрала на всеобщих выборах 1912 г. трети всех поданных голосов. Сразу же после первой мировой войны социал-демократическая партия находилась какое-то время у власти, и Эберт, первый президент Веймарской республики, был ее членом; однако к тому времени партия перестала придерживаться марксистской ортодоксии. Тем временем фанатические приверженцы Маркса пришли к власти в России. На Западе марксистским не было ни одно крупное движение рабочего класса; временноми казалось, что в этом направлении двигается лейбористская партия в Англии, однако она тем не менее придерживается социализма эмпирического типа. Однако под сильное его влияние попало множество интеллектуалов как в Англии, так и в Америке. В Германии всякая пропаганда его доктрин подавлена силой, однако можно ожидать, что после свержения нацистов она возобновится\*.

Таким образом, современная Европа и Америка политически и идеологически разбиты на три лагеря. Это либералы, которые по сию пору следуют за Локком или Бентамом, в разной степени приспособившись к нуждам промышленной организации. Это марксисты, правящие в России; весьма вероятно, что в ряде других стран влияние их будет возрастать. Эти два мировоззрения не так уж далеко отстоят друг от друга в философском смысле: оба рационалистичны и, по намерениям своим, научны и эмпиричны. Однако, с точки зрения практической политики, различие между ними пролегло очень резко. Оно проявляется уже в процитированном в предыдущей главе письме Джеймса Милля, в котором говорится: «Их понятия о собственности выглядят безобразно...»

Следует, однако, признать, что в некоторых своих аспектах рационализм Маркса ограничен. Хотя он утверждает, что его толкование тенденции развития истинно и что события его подтверждают, он считает, что его аргумент сможет (за небольшими исключениями) апеллировать лишь к тем, чьи

\* Я пишу эти строки в 1943 году.

классовые интересы находятся с ним в согласии. Он возлагает мало надежд на убеждение; все его надежды возлагаются на войну классов. Таким образом, на практике он привержен политике захвата власти, а также доктрине господствующего класса, хотя и не господствующей расы. Верно, что можно ожидать, что в результате социальной революции разделение на классы в конце концов исчезнет, уступив место полной политической и экономической гармонии. Но это далекий идеал, вроде Второго Пришествия; а пока что существуют война и диктатура, а также навязывание идеологической ортодоксии.

Третья группа современных воззрений, которую политически представляют нацисты и фашисты, в философ-

ском плане отличается от первых двух куда глубже, чем они отличаются друг от друга. Она антирациональна и антинаучна. Философскими прародителями ее были Руссо, Фихте и Ницше. Она делает упор на волю, в особенности на волю к власти, которая, по ее мнению, главным образом сосредоточена в отдельных расах или индивидуумах, имеющих поэтому право управлять другими.

До Руссо философский мир обладал неким единством. Теперь оно на время исчезло, однако, возможно, ненадолго. Восстановить его можно новым рационалистическим завоеванием людских умов, но никак не иначе, ибо притязания на господство рождают лишь ссору.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Текст печатается по изданию: Бертран Рассел. История западной философии. — Нью-Йорк, 1981. с. 798—805. Перевод сверен с оригиналом и исправлен по изданию Bertrand Russel. A History of Western Philosophy: And its Collection with Political and Social Circumstances from the Earliest Times to the Present Day. — New York: Simon and Schuster, 1965, p. 782—790.

<sup>2</sup> Годскин Томас — один из первых английских социалистов-радикалов. Автор книги «Защита труда от требований капитала» [1825]. Годскин доказал, что все вознаграждение от труда принадлежит трудящимся, а не капиталисту.

<sup>3</sup> Святой Амвросий Медиоланский [340 — ок. 397] — раннехристианский богослов, один из отцов церкви, борец за независимость церкви от государства. Сопоставление Св. Амвросия с Марксом, по-видимому, возникает потому, что оба они, как считал Рассел, были скорее не философами, а политиками. Ср. в этом смысле последний тезис Маркса о Фейербахе — о том, что раньше философы пытались объяснить мир, но дело состоит в том, чтобы его изменить. Аналогии между марксизмом и ранним христианством характерны для британской историософии [см. А. Тойнби. Христианство и марксизм. — «Даугава», 1989, № 4].

<sup>4</sup> Бентам Иеремия [1778—1832] — английский философ и юрист, один из основателей этики утилитаризма, в соответствии с которой руководящим принципом поведения является принцип полезности, автор труда «Деонтология, или Наука о морали» [1834]. Основной тезис учения Бентама — наибольшее счастье для наибольшего количества людей.

<sup>5</sup> Милль Джемс [1773—1836] — шотландский философ и экономист-радикал, поборник идей Бентама, отец английского философа Джона Стюарта Милля, одного из основателей позитивизма.

<sup>6</sup> Инструментализм — философское учение, распространенное в США в 20-е годы XX века, разновидность прагматизма. Его основатель, американский философ Джон Дьюи [1859—1952], рассматривал истину как инструмент, обеспечивающий успех в данной ситуации. Вслед за Ч. С. Пирсом Дьюи считал, что истина — это мнение, с которым суждено в конце концов согласиться тому, кто исследует. Сопоставление «диамата» с инструментализмом кажется парадоксальным.

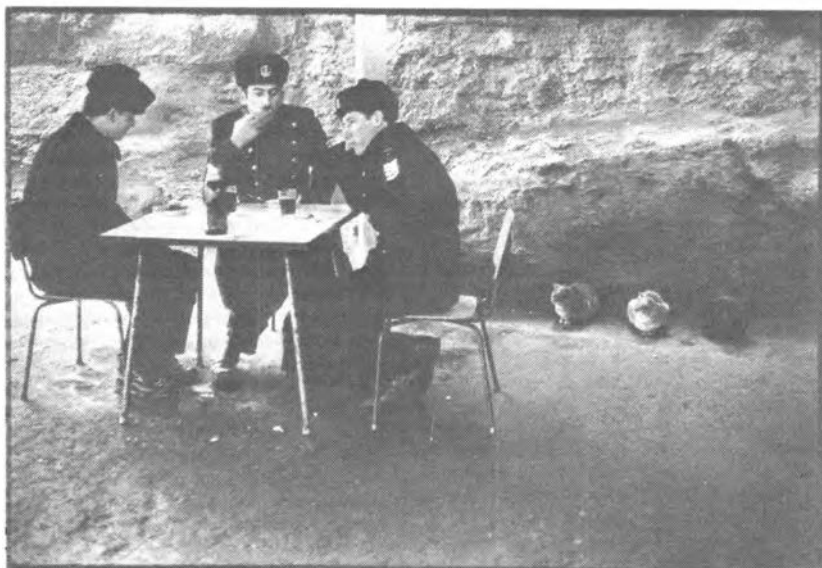
По-видимому, основа для сравнения — это практический характер понимания задач философии.

<sup>7</sup> Универсалии, или общие понятия. Платон считал, что универсалиям [идеям] соответствует истинное бытие, единичные же вещи проявляются как нечто вторичное. Отсу-

де крайний тип мышления по отношению к реальности универсальной, который в средневековой философии назывался р е л и з м о м, в противоположность номинализму, сторонники которого признавали существование только единичных вещей и понятий.

Онтологическое доказательство Бытия Божия «основано не различии между существованием и сущностью. Считается, что любой обыкновенный человек, с одной стороны, имеет определенные качества, которые составляют его или ее сущность. Гамлет, хотя он и не существует, имеет определенную сущность: он меланхоличен, нерешителен, остроумен и т. д. Когда мы описываем какого-либо человека, как бы возможно подробно ни было наше описание, вопрос, реален ли он или воображаем, остается открытым. На языке схоластики это выражается фразой, что в отношении любой конечной субстанции ее сущность не включает в себя ее существование. Но в отношении Бога, определяемого как наиболее совершенное существо, Св. Ансельм, а за ним и Декарт утверждают, что что сущность включает в себя существование на основе того, что существо, которое обладает всеми остальными совершенствами, совершеннее, если оно существует, чем если оно не существует; из этого следует, что если оно не существует, то оно не является самым совершенным из возможных существ» [Б. Рассел. История западной философии, с. 605].

Подготовка текста и примечаний В. РУДНЕВА



Сергей Тодоров.\*\*\*



## ОКАЯННЫЕ ДНИ

9 мая.

Ночью тревожные сны с какими-то поездками и морями и очень красивыми пейзажами, оставляющими, однако, впечатление болезненное и печальное, — и напряженное ожидание чего-то. Потом огромная говорящая лошадь. Она говорила что-то похожее на мои стихи о Святогоре и Илье на каком-то древнем языке, и все это стало так страшно, что я проснулся и долго мысленно твердил эти стихи:

На гривастых конях на косматых,  
На золотых стременах, на разлтых,  
Едут братья, меньшей и старшой,  
Едут сутки, и двое, и трое,  
Видят в поле корыто простое,  
Наезжают — ан гроб да большой:  
Гроб глубокий, из дуба долбленный,  
С черной крышей, тяжелой,

томленной,

Вот и сдвинул ее Святогор,  
Лег, накрылся и шутит: «А влору!  
Помоги-ка, Илья, Святогору  
Снова выйти на Божий простор!»  
Обнял крышу Илья, усмехнулся,  
Во всю грузную печь надулся,  
Двинул срыву... Да нет, погоди!  
«Ты мечом!» — слышен голос из

гроба, —

Он за меч, — загорается злоба,  
Занимается сердце в груди, —  
Нет, и меч не берет! С виду рубит,  
Да не делает дела, а губит:

Где ударит — там обруч готов,  
Нарастает железная скрепа.  
Не поднятсЯ из гробного склепа  
Святогору во веки веков!

Это писано мной в 16 году.

Лезли мы в наше гробное корыто  
весело, пошучивая...

В газетах опять: «Смерть пьянице Григорьеву!» — и дальше гораздо серьезнее: «Не время словам! Речь теперь идет уже не о диктатуре пролетариата, не о строительстве социализма, но уж о самых элементарных завоеваниях Октября... Крестьяне заявляют, что до последней капли будут биться за мировую революцию, но, с другой стороны, стало известно об их нападениях на советские поезда и об убийствах топорами и вилами лучших наших товарищей...»

Напечатан новый список расстрелянных — «в порядке проведения в жизнь красного террора» — и затем статейка:

«Весело и радостно в клубе имени товарища Троцкого. Большой зал бывшего Гарнизонного Собрания, где раньше ютилась свора генералов, сейчас переполнен красноармейцами. Особенно удачен был последний концерт. Сначала исполнен был «Интернационал», затем товарищ Кронкарди вызывая интерес и удовольствие слушателей, подражал лаю собаки визгу цыпленка, пению соловья и других

животных, вплоть до пресловутой свиньи . . . »

«Визг» цыпленка и «пение соловья и прочих животных» — которые, оказывается, тоже все «вплоть» до свиньи поют, — этого, думаю, сам дьявол не сочинил бы. Почему только свинья «пресловутая» и перед подражанием ей исполняют «Интернационал»?

Конечно, вполне «заборная литература». Но ведь этим «забором», таким свинским и интернациональным, делается чуть не вся Россия, чуть не вся русская жизнь, чуть не все русское слово, и возможно ли будет когда-нибудь из-под этого забора выбраться? А потом — ведь эта заборная литература есть кровная родня чуть не всей «новой» русской литературе. Ведь уже давно стали печататься — и не где-нибудь, а в «толстых» журналах — такие, например, вещи:

Уж все цветы в саду поспели . . .  
Тот лен, из какого веревку сплели . . .  
Иду и колосья пшени разбираю . . .  
Вы об этой женщине не тужьте . . .  
А в этот час не хорошо везде ль?  
Царевну не надо в покои пустить . . .  
Я б описал, но хватит слов ли?

Распад, разрушение слова, его сокровенного смысла, звука и веса идет в литературе уже давно.

— Вы домой? — говорю как-то писателю Осиповичу, прощаясь с ним на улице.

Он отвечает:

— Отнюдь!

Как я ему растолкую, что так по-русски не говорят? Не понимает, не чуёт:

— А как же надо сказать? По-вашему, отнюдь нет? Но какая разница?

Разницы он не понимает. Ему, конечно, простительно, он одессит. Простительно еще и потому, что в конце концов он скромно сознается в этом и обещает запомнить, что надо говорить «отнюдь нет». А какое невероятное количество теперь в литературе самоуверенных наглецов, мнящих себя страшными знатоками слова! Сколько поклонников старинного («ядренного и сочного») народного языка, словечка в простоте не говорящих, изнуряющих своей архирусскостью!

Последнее (после всех интернациональных «исканий», то есть каких-то младотурецких подражаний всем западным образцам) начинает входить

в большую моду. Сколько стихотворцев и прозаиков делают тошнотворным русский язык, беря драгоценные народные сказания, сказки, «словеса золотые» и бесстыдно выдавая их за свои, оскверняя их пересказом на свой лад и своими прибавками, роясь в областных словарях и составляя по ним какую-то похабнейшую в своем архирусизме смесь, на которой никто и никогда на Руси не говорил и которую даже читать невозможно! Как носились в московских и петербургских салонах с разными Ключевыми и Есениными, даже и одевавшимися под странников и добрых молодцев, распевавших в нос о «свечечках» и «речечках» или прикидывавшихся «разудальными головушками»!

Язык ломается, болеет и в народе. Спрашиваю однажды мужика, чем он кормит свою собаку. Отвечает:

— Как чем? Да ничем, ест, что попало: она у меня собака съедобная.

Все это всегда бывало и народный организм все это преодолел бы в другое время. А вот преодолеть ли теперь?

10 мая.

«Колчак потерял Белебей и засекает крестьян насмерть . . . С Колчаком едет Михаил Романов . . . едет на старой тройке: самодержавие, православие, народность . . . несет еврейские погромы, водку . . . Колчак поступил на службу к международным хищникам . . . чтобы под хладнокровной, раскормленной рукой Ллойд-Джорджа билась в судорогах истощенная страна . . . Колчак ждет, когда сумеет пить кровь рабочих . . . »

Рядом брань и угрозы по адресу левых эсеров: «Эти писаки зарываются и порой пускаются в пляску . . . мажут свою физиономию, но на физиономии, как они не чистятся, все же есть кулацкие веснушки . . . »

Помимо крестьян. «засекаемых» Колчаком, страшно беспокоятся и немцы: «Гнусная комедия в Версале закончена, но даже шейдемановцы заявляют, что условия союзных живодеров, буржуазных акул, совершенно неприемлемы . . . »

Ходили на Гимназическую. Почти всю дорогу дождь. весенний прелестный, с чудесным весенним небом среди тучек. А я два раза был близок к обмороку. Надо бросить эти записи. Записи-

вая, еще больше заставляю себе сердце.

И опять слухи — теперь уже о десяти транспортах с «цветочными» (то есть, говоря по-русски, цветными) войсками, будто бы идущими выручать нас.

О Подвойском, от человека близко знающего его: «Тупой бурсак, свиные глаза, длинный нос, маньяк дисциплины...»

11 мая.

Призывы в чисто русском духе:

— Вперед, родные, не считайте тру-лы!

Из вестей о «разгроме» Григорьева можно убедиться только в одном — что григорьевщиной охвачена почти вся Малороссия.

Вчера говорили, что в Одессу приехал «сам» Троцкий. Но оказывается, он в Киеве. «Прибытие вождя окрылило всех рабочих и крестьян Украины... Вождь произнес длинную речь от имени народных миллионов в дни, когда разбит позвончик буржуазной уверенности, когда мы слышим в ее голосе трещину... Говорил к народу с балкона...»

Как раз читаю Ленотра, Сен-Жюст, Робеспьер, Кутон... Ленин Троцкий, Дзержинский... Кто подлее, кровавее, гажее? Конечно, все-таки московские. Но и парижские были неплохи.

Кутон, говорит Ленотра, Кутон диктатор, ближайший сподвижник Робеспьера, лионский Аттила, законодатель и садист, палач, отправлявший на эшафот тысячи ни в чем не повинных душ, «страстный друг Народа и Добоодетели», был, как известно, калека, колченогий. Но как, при каких обстоятельствах потерял он ноги? Оказывается довольно постыдно. Он проводил ночь своей любовницы, муж которой отсутствовал. Все шло поекрасно как вдруг стук, шаги возвращающегося мужа. Кутон вскочил с постели, прыгнул в окно во двор — и угодил в выгребную яму. Просидев там до рассвета, он навсегда лишился ног, — отнялись на всю жизнь.

Говорят, в Николаеве идет еврейский погром. Очевидно далеко не всех крестьян Украины «окрылило прибытие вождя».

Однако, тон газет стал крепче, наглее. Давно ли писали, что «не дело

большевиков распинать Христа, который, будучи Спаситель, восстал на богачей?» Гепеб уже иные песни. Вот несколько строк из «Одесского Коммуниста»:

«Слюни такого знаменитого волшебника, как Иисус Христос, должны иметь и соответственную волшебную силу. Многие, однако, не признавая чудес Христа, тем не менее продолжают миндальничать по поводу нравственного смысла его учения, доказывая, что «истины» Христа ни с чем не сравнимы по их нравственной ценности. Но, в сущности говоря, и это совершенно неверно и объясняется только незнанием истории и недостаточной глубиной развития».

12 мая.

Опять флаги, шествия, опять праздник, — «день солидарности пролетариата с красной армией». Много пьяных солдат, матросов, босяков...

Мимо нас чesут покойника (не большевика). «Блаженни, иже избрал и принял еси, Господи...» Истинно так. Блаженны мертвые.

Говорят, Троцкий таки приехал. «Встречали, как царя».

14 мая.

«Колчак с Михаилом Романовым несет водку и погромы...» А вот в Николаеве Колчака нет, в Елизаветграде тоже а меж тем:

«В Николаеве зверский еврейский погром... Елизаветград от темных масс пострадал страшно. Убитки исчисляются миллионами. Магазины, частные квартиры, лавчонки и даже буфетки снесены до основания. Разгромлены советские склады. Много долгих лет понадобится Елизаветграду, чтобы оправиться!»

И дальше:

«Предводитель солдат, восставших в Одессе и ушедших из нее, громит Ананьев — убитых свыше ста, магазины озаграблены...»

«В Жмеринке идет еврейский погром, как и был погром в Знаменке...»

Это называется, по Блокам, «народ объят музыкой революции — слушайте, слушайте музыку революции!»

Ночь на 15 мая.

Пересматривал свой «портфель», изорвал порядочно стихов, несколько начатых рассказов и теперь жалею. Все от горя, безнадежности (хотя и раньше случалось со мной это не раз). Прятал разные заметки о 17 и 18 годах.

Ах, эти ночные воровские прятания и перепрятывания бумаг, денег! Миллионы русских людей прошли через это растение, унижение за эти годы. И сколько потом будут находить кладов! И все наше время станет сказкою, легендой...

---

Лето 17 года. Сумерки, на улице возле избы кучка мужиков. Речь идет о «бабушке русской революции». Хозяин избы размеренно рассказывает: «Я про эту бабушку давно слышу. Прозорливица, это правильно. За пятьдесят лет, говорят, все эти дела предсказала. Ну, только избавь Бог, до чего страшна: толстая, сердитая, глазки маленькие, пронзительные, — я ее портрет в фельетоне видел. Сорок два года в остроге на чеки держали, а уморить не могли, ни днем, ни ночью не отходили, а не устерегли: в остроге, и то ухитрилась миллион нажить! Теперь народ под свою власть скупает, землю сулит, на войну обещает не брать. А мне какая корысть под нее идти? Земля эта мне без надобности, я ее лучше в аренду сниму, потому что навозить мне ее все равно нечем, а в солдаты меня и так не возьмут, года вышли...»

Кто-то, белеющий в сумраке рубашкой, «краса и гордость русской революции», как оказывается потом, дерзко вмешивается:

— У нас такого провокатора в пять минут арестовали бы и расстреляли!

Мужик возражает спокойно и твердо:

— А ты, хоть и матрос, а дурак. Я тебе в отцы гожусь, ты возле моей избы без порток бегал. Какой же ты комиссар, когда от тебя девкам проходить нет, среди белого дня под подол лезешь? Погоди, погоди, брат, — вот протрешь казенные портки, пропнешь наворованные деньжонки, опять в пастухи заприсишься! Опять, брат, будешь мою свинью арестовывать. Это тебе не

над господами измываться. Я-то тебя с твоим Жучковым не боюсь!

(Жучков — это Гучков.)

Сергей Климов, ни к селу ни к городу, прибавляет:

— Да его, Петроград-то, и так давно надо отдать. Там только одно разнообразие...

Девки визжат на выгоне:

Люби белых, кудреватых,  
При серебряных часах...

Из-под горы идет толпа ребят с гармониями и балалайкой:

Мы ребята ежики,  
В голенищах ножики,  
Любим выпить, закусить,  
В пьяном виде пофорсить...

Думаю: «Нет, большевики-то поумней будут господ Временного Правительства! Они не даром все наглеют и наглеют. Они знают свою публику.»

---

На деревне возле избы сидит солдат дезертир, курит и напевает:

— Ночь темна, как две минуты...

Что за чушь? Что это значит — как две минуты?

— А как же? Я верно пою: как две минуты. Здесь делается ударение.

Сосед говорит:

— Ох, брат, вот придет немец, сделает он нам ударение!

— А мне один черт — под немца, так под немца!

---

В саду возле шалаша целое собрание. Караульщик, мужик бывалый и изысканно красноречивый, передает слух, будто где-то возле Волги упала из облаков кобыла в двадцать верст длиною. Обращаясь ко мне:

— Вириятно, эрунда, барин?

Его приятель с упоением рассказывает свое «революционное» прошлое. Он в 1906 году сидел в остроге за кражу со взломом — и это его лучшее воспоминание, он об этом рассказывает постоянно, потому что в остроге было

— Веселей всякой свадьбы и харчи отличные!

Он рассказывает:

— В тюрьме обнаковенно на верхнем этаже сидят политики, а во втором — помощники этим политикам. Они никого не боятся, эти политики, обкладывают матюком самого губер-

натора, а вечером песни поют, мы жертвою пали . . .

Одного из таких политиков царь приказал повесить и выписал из Синода самого грозного палача, но потом ему пришлось помилование и к политикам приехал главный губернатор, третье лицо при царском дворце, только что сдавший экзамен на губернатора. Приехал — и давай гулять с политиками: налопался, послал урядника за граммофоном — и пошел у них ход: губернатор так напился, нажрался — нога за ногу не вяжет, так и снесли стражники в возок . . . Обещал прислать всем по двадцать копеек денег, по полфунта табаку турецкого, по два фунта ситного хлеба, да, конечно, сбрыхал . . .

15 мая.

Хожу, прислушиваюсь на улицах, в подворотнях, на базаре. Все дышат гяжкой злобой к «коммуни» и к евреям. А самые злые юдофобы среди рабочих в Ропите. Но какие подлецы! Им поминутно затыкают глотку какой-нибудь подачкой, поблажкой. И три четверти народа так: за подачки, за разрешение на разбой, грабеж отдает совесть, душу, Бога . . .

Шел через базар — вонь, грязь, нищета, хохлы и хохлушки чуть не десятого столетия, худые волы, допотопные телеги — и среди всего этого афиши, призывы на бой за третий интернационал. Конечно, челухи всего этого не может не понимать самый паршивый, самый тупой из большевиков. Сами порой, небось, покатываются от хохота.

Из «Одесского Коммуниста»:

Зарежем штыками мы алчную гидру,

Тогда заживем веселей!  
Если не так, то всплывут они скоро,  
Оживут во мгновение ока,  
Как паразит, начнет эта свора  
Жить на счет нашего сока . . .

Грабят аптеки: все закрыты, «национализированы и учитываются». Не дай бог захворать!

И среди всего этого, как в сумасшедшем доме, лежу и перечитываю «Пир Платона», поглядывая иногда вокруг себя недоумевающими и, конечно, тоже сумасшедшими глазами . . .

Вспомнил почему-то князя Кропоткина (знаменитого анархиста). Был у него в Москве. Совершенно очарова-

тельный старичок высшего света — и вполне младенец, даже жутко.

Костюшко называли «защитником всех свобод». Это замечательно. Специалист, профессионал. Страшный тип.

16 мая.

Большевистские дела на Дону и за Волгой, сколько можно понять, плохи. Помогите нам, Господи!

Прочитал биографию поэта Полежаева и очень взволновался — и больно, и грустно, и сладко (не по поводу Полежаева, конечно). Да, я последний, чувствующий это прошлое, время наших отцов и дедов . . .

Прошел дождик. Высоко в небе облако, проглядывает солнце, птицы сладко щебечут во дворе на ярких желто-зеленых акациях. Обрывки мыслей, воспоминаний о том, что, верно, уже веки не вернется . . . Вспомнил лесок Поганое, — глушь, березняк, трава и цветы по пояс, — и как бежал однажды над ним вот такой же дождик, и я дышал этой березовой и полевой, хлебной сладостью и всей, всей прелестью России . . .

Николая Филипповича выгнали из его имения (под Одессой). Недавно стали его гнать и с его одесской квартиры. Пошел в церковь, горячо молился, — был день его Ангела, — потом к большевикам, насчет квартиры — и там внезапно умер. Разрешили похоронить в имении. Все-таки лег на вечный покой в своем родном саду, среди всех своих близких. Пройдет сто лет — и почувствует ли хоть кто-нибудь тогда возле этой могилы его время? Нет, никто и никогда. И мое тоже. Да мне-то и не лежать со своими . . .

«Попов искал в университетском архиве дело о Полежаеве . . .» Какое было дело какому-то Попову до Полежаева? Все из жажды очернить Николая !.

Усмирение мюридов, Кази-Муллы. Дед Кази был беглый русский солдат. Сам Кази был среднего роста, по лицу рябинки, борода редкая, глаза светлые, пронзительные. Умертвил своего отца, влив ему в горло кипящего масла. Торговал водкой, потом объявил себя пророком, поднял священную войну . . . Сколько бунтарей, вождей вот именно из таких!

17 мая.

Белыми, будто бы, взяты Псков, По-

лоцк, Двинск, Витебск . . . Деникин буд-то бы взял Изюм, гонит большевиков нещадно . . . Что если правда?

Дезертирство у большевиков ужасное. В Москве пришлось даже завести «центрокомдезертир».

21 мая.

В Одессу прибыл Иоффе, — «чтобы заявить Антанте, что мы будем апеллировать к пролетариату всех стран . . . чтобы пригвоздить Антанту к позорному столбу . . .»

Насчет чего апеллировать?

Слышал об Иоффе:

— Это большой барин, большой любитель комфорта, вин, сигар, женщин. Богатый человек, — паровая мельница в Симферополе и автомобили Иоффе-Рабинович. Очень честолюбивый, — через каждые пять минут: «когда я был послом в Берлине . . .» Красавец, типичный знаменитый женский врач . . .

Рассказчик втайне восхищался.

23 мая.

В «Одесском Набате» просьба к знающим — сообщить об участии пропавших товарищей: Вали Злого, Миши Мрачного, Фурманчика и Муравчика . . . Потом некролог какого-то Яшеньки:

«И ты погиб, умер, прекрасный Яшенька . . . как пышный цветок, только что пустивший свои лепестки . . . как зимний луч солнца . . . возмущавшийся малейшей несправедливостью, восставший против угнетения, насилия, стал жертвой дикой орды, разрушающей все, что есть ценного в человечестве . . . Спи спокойно, Яшенька, мы отомстим за тебя!»

Какой орды? За что и кому мстить? Там же сказано, что Яшенька — жертва «всемирного бича, венеризма».

На Дерibasовской новые картинки на стенах: матрос и красноармеец, казак и мужик крутят веревками отвратительную зеленую жабу с выпученными буркалами — буржуя; подпись: «Ты давил нас толстой пузой»; огромный мужик взмахнул дубиной, а над ним взвила окровавленные, зубастые головы гидра; головы все в коронах; больше всех страшная, мертвая, скорбная, покорная, с синеватым лицом,

в сбитой набок короне голова Николая II; из-под короны течет полосами по щекам кровь . . . А коллегия при «Агитпросвете», — там служит уже много знакомых, говорящих, что она призвана облагородить искусства, — заседает, конструируется, копирует новых членов, — Осиповича, профессора Варнеке, — берет пайки хлебом с плесенью, тухлыми селедками, гнилыми картошками . . .

24 мая.

Выходил, дождя нет, тепло, но без солнца, мягкая и пышная зелень деревьев, радостная, праздничная. На столбах огромные афиши:

«В зале Пролеткульта грандиозный абитурбал. После спектакля призы: за маленькую ножку, за самые красивые глаза. Киоски в стиле модерн в пользу безработных спекулянтов, губки и ножки целовать в закрытом киоске. красный кабачок, шалости электричества, котильон, серпантин, два оркестра военной музыки, усиленная охрана, свет обеспечен, разъезд в шесть часов утра по старому времени. Хозяйка вечера — супруга командующего третьей советской армией, Клавдия Яковлевна Худякова».

Списал слово в слово. Воображаю эти «маленькие ножки», что будут проделывать «товарищи», когда будет «шалить», то есть гаснуть электричество.

Разбираю и частью рву бумаги, вырезки из старых газет. Очень милые стишки по моему адресу в «Южном Рабочем» (меньшевистская газета, издававшаяся до прихода большевиков):

Испуган ты и с похвалой сумбурной  
СогнулсЯ вдруг холопски пред  
варягом . . .

Это по поводу моих стихов, напечатанных в «Одесском Листке» в декабре прошлого года, в день высадки в Одессе французов.

Какими националистами, патриотами становятся эти интернационалисты, когда это им надобно! И с каким высокомерием глумятся они над «испуганными интеллигентами», — точно решительно нет никаких причин пугаться, — или над «испуганными обывателями», точно у них есть какие-то

великие преимущества перед «обывателями». Да и кто собственно эти обыватели, «благополучные мещане»? И о ком и о чем заботятся, вообще, революционеры, если они так презирают среднего человека и его благополучие?

Нападите врасплох на любой старый дом, где десятки лет жила многочисленная семья, переберите или возьмите в полон хозяев, домоправителей, слуг, захватите семейные архивы, начните их разбор и вообще розыски о жизни этой семьи, этого дома, — сколько откроется темного, греховного, несправедного, какую ужасную картину можно нарисовать и особенно при известном пристрастии, при желании опозорить во что бы то ни стало, всякое лыко поставить в строку!

Так врасплох, совершенно врасплох был захвачен и российский старый дом. И что же открылось? Истинно диву надо даваться, какие пустяки открылись! А ведь захватили этот дом как раз при том строе, из которого сделали истинно мировой жупел. Что открыли? Изумительно: ровно ничего!

25 мая.

«Прибытие в Одессу товарища Балабановой, секретаря III интернационала».

Чи-то похороны с музыкой и знаменами: «За смерть одного революционера тысяча смертей буржуев!»

26 мая.

«Союз пекарей извещает о трагической смерти стойкого борца за царство социализма пекаря Матьяша...»

Некрологи, статьи:

«Ушел еще один... Не стало Матьяша... Стойкий, сильный, светлый... У гроба — знамена всех секций пекарей... Гроб утопает в цветах... День и ночь у гроба почетный караул...»

Достоевский говорит:

«Дай всем этим учителям полную возможность разрушить старое общество и построить заново, то выйдет такой мрак, такой хаос, нечто до того грубое, слепое, бесчеловечное, что все здание рухнет под проклятиями всего человечества, прежде чем будет завершено...»

Теперь эти строки кажутся уже слабыми.

27 мая.

Духов день. Тяжелое путешествие в Сергиевское училище, почти всю дорогу под дождевой мглой, в разбитых промокающих ботинках. Слабы и от недоедания, — шли медленно, почти два часа. И, конечно, как я и ожидал, того, кого нам было надо видеть, — приехавшего из Москвы, — не застали дома. И такой же тяжкий путь и назад. Мертвый вокзал с перебитыми стеклами, рельсы уже рыжие от ржавчины, огромный грязный пустырь возле вокзала, где народ, визг, гогот, качели и карусели... И все время страх, что кто-нибудь остановит, даст по физиономии или облапит В. Шел, стиснув зубы, с твердым намерением, если это случится, схватить камень поувесистой и ахнуть по товарищескому черепу. Тащи потом куда хочешь!

Вернулись домой в три. Новости. «Уходят! Английский ультиматум — очистить город!»

Был Н. П. Кондаков. Говорил о той злобе, которой полон к нам народ и которую «сами же мы внедрили в него сто лет». Потом Овсяннико-Куликовский. Потом А. Б. Азарт слухов: «Реквизируют сундуки, чемоданы и корзины, — бегут... Сообщение с Киевом совсем прервано... Взят Проскуров, Жмеринка, Славянск...» Но кем взят? Этого никто не знает.

Выкурил чуть не сто папирос, голова горит, руки ледяные.

Ночью.

Да, образовано уже давным-давно некое всемирное бюро по устройению человеческого счастья, «новой, прекрасной жизни». Оно работает во всю, принимает заказы на все, буквально на все самые подлые и самые бесчеловечные низости. Вам нужны шпионы, предатели, растлители враждебной вам армии? Пожалуйте, — мы уже недурно доказали наши способности в этом деле. Вам угодно «провоцировать» что-нибудь? Сделайте милость, — более опытных мерзавцев по провокации вы нигде не найдете... И так далее, и так далее.

Какая чепуха! Был народ в 160 миллионов численностью, владевший шес-

той частью земного шара, и какой частью? — поистине сказочно-богатои и со сказочной быстротой процветавшей! — и вот этому народу сто лет долбили, что единственное его спасение — это отнять в тысячи помещиков те десятины которые и так не по дням, а по часам таяли в их руках!

28 мая.

Часто недосыпаю. рано проснулся и нынче. С самого утра стали мучить слухи. Их было столько, что все в голове спуталось. У многих создалось такое впечатление, что вот-вот освобождение. Перед вечером выпуск «Известий»: «Мы отдали Проскуров. Каменец, Славянск. Финны перешли границу, стреляют без причины по Кронштадту... Чичерин протестует...» Домбровский арестован. ночью разоружали его части, и была стрельба.

Домбровский — комендант Одессы. Бывший актер, содержал в Москве «Театр Миниатюр». У него были именины. пир шел горой. Было много гостей из чрезвычайки. Спьяну затеяли скандал, шла стрельба, драка.

29 мая.

Комендантом Одессы, вместо арестованного Домбровского, назначен студент Мизикевич. Затем: «В Румынии восстание... вся Турция охвачена революцией... Революция в Индии ширится...»

В полдень ходил стричься. Два мрачных товарища «приглашали» хозяйку взять билеты (по 75 оуб. за билет) на какой-то концерт с такой скотской грубостью, так зычно и повелительно, что даже я, уж кажется, ко всему привыкшии, был поражен. Встретил Луи Ивановича (знакового моряка): «Завтра в двенадцать истекает срок ультиматума. Одесса будет взята французами». Глупо, но шел домой как пьяный.

31 мая.

«Доблестными советскими войсками взята Уфа, несколько тысяч пленных и двенадцать пулеметов... Энергично преследуются панически бегущии неприятель... Мы оставили Бердянск. Чертково, бьемся южнее Царицына». В Берлине нынче хоронят Розу. Поэто-

му в Одессе — день траура, запрещены все зрелища, рабочие работают только утром, в «Одесском Коммунисте» статья: «Шапки долой!»

Десяток яиц стоит уже 35 руб., масло 40, ибо мужиков, везущих продукты в город, грабят «бандиты». Взятые на учет кладбища. «Хорониться граждане отныне могут бесплатно». Часы переведены еще на час вперед — сейчас по моим часам десять утра, а «по-советски» половина второго дня.

Юофе живет в вагоне на вокзале. Он здесь в качестве государственного ревизора. Многим одесским удивлен, возмущен, — «Одесса переусердствовала», — пожимает плечами, разводит руками. кое-что «смягчает»...

Статька «Терновый венец»: «Ползл по рабочим липкий и жестокий слух: "Матьяша убили!" Гневно сжимались мозолистые оуки и уже хрипло доносились крики: "Око за око! "Астить!"»

Оказалось, однако, что Матьяш застрелился: «Не вынес кошмара обступившей его действительности... со всех сторон обступили его бандиты, воры, грабители, гонимые, насилие... Следственная комиссия установила, что он сознал трудность работы среди бандитов, воров и мошенников...» Оказалось кроме того — «легкое опьянение».

2 июня.

Сводка — заячи следы. Одно пропадает — успехи Деникина продолжают.

После завтрака вышли. Дождь. Зашли под ворота дома, сошлись со Шмидтом Полевицкой Варшавским. Полевицкая опять о том, чтобы я написал мистерию, где бы ей была «ооль» Богоматери «или вообще святой, что-нибудь вообще зовущее к хоистанству». Спрашиваю: «Зовущее кого? Этих зверей?» — «Да, а что же? Вот недавно сидит матрос в первом ряду, тудов двенадцать — и плачет...» И «крокодилы, говорю, плачут...»

После обеда опять выходили. Как всегда, камень на душе страшный. Опять эти стекловидно-оозовые, точно со дна морского, звезды в вечернем воздухе — в Красном переулке, против театра (имени Свердлова) и над входом в театр. И опять этот страшный плакат — голова Государя, мертвая, си-



няя, скорбная, в короне, сбитой набок мужицкой дубиной.

3 июня.

Год тому назад приехали в Одессу. Странно подумать — год! И сколько перемен и все к худшему. Вспоминую теперь даже переезд из Москвы сюда как прекрасное время.

4 июня.

Колчак признан Антантой Верховным Правителем России. В «Известиях» похабная статья: «Ты скажи нам, гадина, сколько тебе дадено?»

Черт с ними. Перекрестился с радостными слезами.

7 июня.

Был в книжном магазине Ивасенки. Библиотека его «национализирована», книги продаются только тем, у кого есть «мандаты». И вот являются биндюжники, красноармейцы и забирают, что попало: Шекспира, книгу о бетонных трубах, русское государственное право... Берут по установленной дешевой цене и надеются сбывать по дорогой.

На фронт никто не желает идти. Происходят облавы «уклоняющихся».

Целые дни подводы, нагруженные награбленным в магазинах и буржуазных домах, идут куда-то по улицам.

Говорят, что в Одессу присланы петербургские матросы, беспощаднейшие звери. И правда, матросов стало в городе больше и вида они нового, раструбы их штанов чудовищные. Вообще очень страшно по улицам ходить. Часовые все играют винтовками, — того гляди застрелит. Поминутно видишь — два хулигана стоят на панели и разбирают браунинг.

После обеда были у пушки на бульваре. Кучки, беседы, агитация — все на тему о зверствах белогвардейцев. а какой-нибудь солдат повествует о своей прежней службе; все одно: как начальники «все себе в карман клали» — дальше кармана у этих скотов фантазия не идет.

— А Перемышль генералы за десять тысяч продали, — говорит один: — я это дело хорошо знаю, сам там был.

Сумасшедшие слухи о Деникине,

об его успехах. Решается судьба России.

9 июня.

В газетах все то же — «Деникин хочет взять в свои лапы очаг» — и все та же страшная тревога за немцев, за то, что им придется подписать «позорный» мир. Естественно было бы крикнуть: «Негодяи, а как же похабный мир в Бресте, подписанный за Россию Караханом?» Но в том-то и сатанинская сила их, что они сумели перешагнуть все пределы, все границы дозволенного, сделать всякое изумление, всякий возмущенный крик наивным, дурацким.

И все то же бешенство деятельности, все та же неугасимая энергия, ни на минуту не ослабевающая вот уже скоро два года. Да, конечно, это что-то нечеловеческое. Люди совсем недаром тысячи лет верят в дьявола. Дьявол, нечто дьявольское несомненно есть.

В Харькове «приняты чрезвычайные меры» — против чего? — и все эти меры сводятся к одному — к расстрелу «на месте». В Одессе расстреляно еще 15 человек (опубликован список). Из Одессы отправлено «два поезда с подарками защитникам Петербурга», то есть с продовольствием (а Одесса сама дохнет с голоду). Нынче ночью арестовано много поляков, — как заложников, из боязни, что «после заключения мира в Версале на Одессу двинутся поляки и немцы».

Газеты делают выдержки из декларации Деникина (обещание прощения красноармейцам) и глумятся над ней: «В этом документе сочеталось все: наглость царского выскочки, юмор висельника и садизм палача».

В первый раз в жизни увидел не на сцене, а на улице, среди бела дня, человека с наклеенными усами и бородой

Так ударило по глазам, что остановился как пораженный молнией.

---

Одно из древнейших дикарских рований:

«Блеск звезды, в которую переходит наша душа после смерти, состоит из блеска глаз съеденных нами людей...»

Теперь это звучит не так уж архаично.

«Мечом своим будешь жить ты, Исав!»

Так живем и до сих пор. Разница только в том, что современный Исав совершенный подлец перед прежним.

И еще одна библейская строка: «Честь унижится, а низость возрастет... В дом разврата превратятся общественные сборища... И лицо поколения будет собачье...»

И еще одна, всем известная:

«Вкусите — и станете как боги...»

Не раз вкушали — и все напрасно.

«Попытка французов восстановить священные права людей и завоевать свободу обнаружила полное человеческое бессилие... Что мы увидели? Грубые анархические инстинкты, которые, освобождаясь, ломают все социальные связи к животному самоудовлетворению... Но явится какой-нибудь могучий человек, который укроит анархию и твердо зажмет в своем кулаке бразды правления!»

Удивительней всего то, что эти слова, — столь оправдавшиеся на Наполеоне, — принадлежат певцу «Колокола».

А сам Наполеон сказал:

«Что сделало революцию? Честолюбие. Что положило ей конец? Тоже честолюбие. И каким прекрасным предлогом дурачить толпу была для нас всех свобода!»

Ленотр о Кутоне:

— Каким способом попадал Кутон в Конвент? Кутон, как известно, был калека, а меж тем был одним из самых деятельных и неутомимых членов Конвента и, если не лечился на водах, не пропускал ни одного заседания. Как же, на чем являлся он в Конвент?

Сперва он жил на улице Сент-Онорэ. «Эта квартира, писал он в октябре 1791 года, мне очень удобна, так как она находится в двух шагах от Святилища (то есть Конвента), и я могу ходить туда на своих костылях пешком». Но вскоре ноги совсем отказались служить ему, да переменялось, кроме того, и его местожительство: он жил то в Пасси, то возле Пон-Неф. В 1794 году он наконец основался опять на улице Сент-Онорэ, в доме 336 (ныне 398), в котором жил и Робеспьер. И долго предполагали, что из всех этих мест Кутон заставлял себя носить в Конвент. Но как, на чем? В плетушке? На спине солдата? Вопросы эти оставались без

ответа целых сто лет, говорит Ленотр, — и делает отступление, чтобы нарисовать эту свирепую гадину в домашнем быту, пользуясь одним письменным рассказом, найденным среди революционных документов спустя двадцать лет после смерти Кутона. Это рассказ одного провинциала, приехавшего в Париж с целью оправдать перед Конвентом своих земляков, революционных судей, заподозренных, по доносу, «в снисходительности». Провинциалу посоветовали обратиться к самому Кутону, и одна дама, знакомая г-жи Кутон, устроила ему это свидание, «при одном воспоминании о котором он вздрагивал потом всю жизнь».

— Когда мы явились к Кутону, — рассказывает провинциал, — я, к своему удивлению, увидел господина с добрым лицом и довольно вежливого в обращении. Он занимал прекрасную квартиру, обстановку которой отличалась большой изысканностью. Он, в белом халате, сидел в кресле и кормил люцерной кролика, примостившегося на его руке, а его трехлетний мальчик, хорошенький, как амур, нежно гладил этого кролика. — «Чем могу быть полезен? — спросил меня Кутон. — Человек, которого рекомендует моя супруга, имеет право на мое внимание». И вот я, подкупленный этой идиллией, пустился описывать тяжкое положение моих земляков, а затем, все более ободряемый его ласковым вниманием, сказал уже с полным простодушием: «Господин Кутон, вы, человек всемогущий в Комитете Общественного Спасения, ужели вы не знаете, что революционный трибунал ежедневно выносит смертные приговоры людям, совершенно ни в чем не повинным? Вот, например, нынче будут казнены шестьдесят три человека: за что?» И, Боже мой, что произошло тотчас же после моих слов! Лицо Кутона зверски исказилось, кролик полетел с его руки кувыркком, ребенок с ревом кинулся к матери, а сам Кутон — к шнуру звонка, висевшего над его креслом. Еще минута — и я был бы схвачен теми шестью «агентами охраны», которые постоянно находились при квартире Кутона, но, по счастью, особа, приведшая меня, успела удержать руку Кутона, а меня вытолкать за дверь, и я в тот же день бежал из Парижа...»

Вот каков, говорит Ленотр, был Ку-

тон в свои добрые минуты. А в Конвент ездил, как открылось это только недавно на самолете. В июле 1886 года в Карнавал явилась молодая женщина. Она заявила хранителю музея, что она правнучка Кутона и жертвует музею то самое кресло, на котором Кутон собственноручно катал себя в Конвент. И через неделю после этого кресло было доставлено в Карнавал оыло распаковано — «и снова увидало парижское солнце то же самое термидорское солнце, которое не грело его старого дерева сто пять лет». Оно обито бархатом лимонного цвета и движется при посредстве рукояток и цепи, соединенной с колесами

Кутон был полутруп. «Он был ослаблен ваннами, питался одним телячьим оульоном, истощен оыл костоедолом изнурен постоянной тошнотой и икотой». Но его упорство его энеги оыли неистощимы. революционная драма шла в оешенном темпе «все ее актеры оыли столь непоседливы, что всегда представляешь их себе только в движении, вскакивающими на трибуны мечущими молнии гнева носящимися из конца в конец Франции — все в жажде раздуть оуру, должествующую истребить старыи мир». И Кутон не отставал от них. Каждый день приказывал он поднимать себя сажать в кресло. «чудовищной силой заставлял свои скрюченные руки ложиться на двигатель напоминающий ручку кофейной мельницы, и летел, среди тесноты и многолюдства Сент-Онорэ, в Конвент: чтооь отправлять людей на эшафот. Должно оыть, жуткое это оыло зрелище, вид этого человеческого оолонка, который несся среди толпы на своей машинетрещотке, наклонив вперед туловище: завернутыми в одеяло мертвыми ногами, ооливаясь потом и все время крича «Сторонись!» — а толпа шаркалась в разные стороны: в стоахе и изумлении от противоположности между жалким видом этого калеки и тем ужасом, который вызывало одно его имя.»

«Стихийность» революции:

В меньшевистской газете «Южные Рабочие», издававшейся в Одессе прошлой зимой, известный меньшевик Богданов рассказывал о том, как оора-

зовался знаменитый совет рабочих и солдатских депутатов

— Пришли Суханов-Гиммер и Стеклов никем не выоранные никем не уполномоченные и ооявили себя во главе этого еще несуществующего совета

Грежбин во время войны затеял патриотический журналчик «Отечество». Призвал нас на соеседование оыл между прочим Ф. Ч. Покошкин. После соеседования мы ехали с ним на одном извозчике. Заговооили о народе. о не сказал ничего ужасного: сказал только что народу уже надоела война и что все газетные крики о том что он рвется в оои, преступные воаки. И вдруг он оборвал меня своим ообычным корректным но на этот раз с неообычайной для него рекостью:

— Оставим этот разговор. Мне ваши взгляды на народ всегда казались — ну извините, слишком исключительными, что ли? ..

о посмотрел на него с удивлением и почти ужасом. Нет, подумал, даром наше олагородство нам не проидет

олагородство это полагалось по штату и его наигрывали себе за него срывали рукоплескания им торговали, и вот рота мальчишек из всякой науськанной и не желавшей идти на фронт сволочи явилась к думе — и мы, «доверием и державной волеи народа оолеченные», закричали на весь мир что совершилась великая оосиска: оеволюции, что народ тепеоь голову сложит за нас и за всяческие сволооды: а главное уж тепеь-то поидет как следует сокрушать немцев: до победного конца. И вдобавок ко всему к этому в несколько дней разогнали по всей ооссии всю и всяческую власть.

Весна семнадцатого года. Ресторан «Грага», музыка людски носятся половые. Вино запрещено но почти все пьяны. Музыка сладко режет внутри, знаменитый лиоеоальный адвокат в военной форме Огромный, толстый в груди и в плечах, стрижен ежиком: так пьян, что кричит на весь ресторан: треует чтооы играли «Оиру»

Его сооутыльник, земгусар, еще пья-

нее, обнимает и жадно целует его, бешено впирается ему в губы.

Музыка играет заунывно, развратно-тожно, потом лихо:

— Эх, распошел.

Ты мой серый конь, пошел!

И адвокат, подняв толстые плечи и локти, прыгает, подскакивает в такт на диване.

10 июня.

Журналисты из «Русского Слова» бегут на паруснике в Крым. Там будто бы хлеб восемь гривен фунт, власть меньшевиков и прочие блага.

Встретил на улице С. И. Варшавского. Говорит, что в «Фунге» вывешена ликующая телеграмма: «Немцы позорного мира не подпишут!»

Поляков в Одессе арестовано больше тысячи. При арестах их, говорят, нещадно били. Ничего, теперь все сойдет.

В Киеве «проведение в жизнь красного террора» продолжается; убито, между прочим, еще несколько профессоров, среди них знаменитый диагност Яновский.

Вчера было «экстренное» — всегда «экстренное!» — заседание Исполкома. Фельдман понес обычное: «Мировая революция грядет, товарищи!» Кто-то в ответ ему крикнул: «Довольно, надоело! Хлеба!» — «Ах вот как! — завопил Фельдман. — Кто это крикнул!» Крикнувший смело вскочил: — «Я крикнул!» — и был тотчас же арестован. Затем Фельдман предложил «употреблять буржуев вместо лошадей, для перевозки тяжестей». Это встретили бурными аплодисментами.

Говорят, что нами взят Белгород.

Какая гнусность! Весь город хлопает деревянными сандалиями, все улицы залиты водой. — «Граждане» с утра до вечера таскают воду из порта, потому что уже давно бездействует водопровод. И в всех с утра до вечера только и разговору, как бы промыслить насчет еды. Наука, искусство, техника, всякая мало-мальски человеческая трудовая, что-либо творящая жизнь — все погибло. Сожрали тощие коровы фараоновых тучных и не только не потучнели, а сами околевают!

Теперь в деревне матери так пугают детей:

— Цыц! А то виддам в Одессу в коммунию!

Передают нагло-скромные слова, где-то на днях сказанные Троцким:

— Я был бы опечален, если бы мне сказали, что я плохой журналист. Но когда мне говорят, что я плохой полководец, я отвечаю: я учусь и буду хорошим.

Журналист он был ловкий: А. А. Яблоновский рассказывал, что однажды он внес, украл из редакции «Киевской Мысли» чью-то шубу. А воевать и побеждать он «учится» боками тех царских генералов, которые попались ему в плен. И что ж, прослывет полководцем.

Красное офицерство: мальчишка лет двадцати, лицо все голое, бритое, щеки впалые, зрачки темные и расширенные; не губы, а какой-то мерзкий сфинктер; почти сплошь золотые зубы; на цыплячем теле — гимнастерка с офицерскими походными оемнями через плечи, на тонких, как в скелета, ногах — развратнейшие пузыри-галифе и щегольские, тысячные сапоги. на костреце — смехотворно громадный браунинг.

В университете все в руках семи мальчишек первого и второго курсов. Главный комиссар — студент киевского ветеринарного института Малич. Разговаривая с профессорами, стучит на них кулаком по столу, кладет ноги на стол. Комиссар высших женских курсов — первокурсник Кин, который не переносит возражений, тотчас орет: «Не каркайте!» Комиссар политехнического института постоянно с заряженным револьвером в руке.

Перед вечером встретил на улице знакомого еврея (Зелера, петербургского адвоката). Быстро:

— Здравствуйте. Дайте сюда ваше ухо.

Я дал.

— Двадцатого! Я вам раньше предупреждаю!

Пожал руку и быстро ушел.

Сказал так твердо, что на минуту сбил меня с толку.

Да и как не сбиться? В один голос

говорят, что вчера состоялось тайное заседание, на котором было решено, что положение отчаянное, что надо уходить в подполье и оттуда всячески губить денкинцев, когда они придут — втираясь в их среду, разлагая их, подкупая, спавывая, натравливая на всяческое безобразие, надевая на себя добровольческую форму и крича то «Боже царя храни», то «бей жидов».

Впрочем, весьма возможно, что опять, опять все эти слухи об отчаянном положении пускают сами же они. Они отлично знают, сколь привержены мы оптимизму.

Да, да, оптимизм-то и погубил нас. Это надо твердо помнить.

---

Впрочем, может быть, и правда готовятся бежать. Грабеж идет страшный. Наиболее верным «коммунистам» раздают без счета что попало: чай, кофе, табак, вино. Вин однако осталось, по слухам, мало, почти все выпили матросы (которым особенно нравится, как говорят, коньяк Мартель). А ведь и до сих пор приходилось доказывать, что эти каторжные гориллы умирают вовсе не за революцию, а за Мартель.

---

Сентябрь семнадцатого года, мрачный вечер, темные с желтоватыми щелями тучи на западе. Остатки листьев на деревьях у церковной ограды как-то странно рдеют, хотя под ногами уже сумрак. Вхожу в церковную караулку. В ней совсем почти темно. Караульщик, он же и сапожник, небольшой, курносый, с окладистой рыжей бородой, человек медоточивый, сидит на лавке в рубашке на выпуск и в жилетке, из карманчика которой торчит пузырек с нюхательным табаком. Увидав меня, встает и низко кланяется, встряхивает волосами, которые упали на лоб, потом протягивает мне руку.

— Как поживаешь, Алексей?

Вздыхает:

— Скушно.

— Что такое?

— Да так. Нехорошо. Ах, милый барин, нехорошо. Скушно!

— Да почему же?

— Да так. Был вчера я в городе. Прежде, бывало, едешь на свободе, а теперь хлеб с собой берешь, в городе голод пошел. Голод, голод! Товару

не дали. Товару нету. Нипочем нету. Приказчик говорит: «Хлеба дадите, тогда и товару дадим». А я ему так: «Нет, — уж — вы — шьте — кожу, — а мы свой хлеб будем есть». Только сказать — до чего дошло! Подметки 14 рублей! Нет, куда буржуазии не перережут, будет весь люд голодный, холодный. Ах, милый барин, по истинной совести вам скажу, будут буржуазию резать, ах, будут!

Когда я выхожу из караулки, караульщик тоже выходит и зажигает фонарь возле церковных ворот. Из-под горы идет мужик, порывисто падая вперед, — очень пьяный, — и на всю деревню кричит, ругает самыми отборными ругательствами диакона. Увидав меня, с размаху откидывается назад и останавливается:

— А вы его не можете ругать! Вам за это, за духовное лицо, язык на пяло надо вытянуть!

— Но позволь: я, во-первых, молчу, а во-вторых, почему тебе можно, а мне нельзя?

— А кто ж вас хоронить будет, когда вы помрете? Не диакон разве?

— А тебя?

Уронив голову и подумав, мрачно:

— Он мне, собака, керосину в лавке кооперативной не дал. Ты, говорит, свою долю уже взял. А если я еще хочу? «Нет, говорит, такого закону». Хорош, ай нет? Его за это арестовать, собаку, надо! Теперь никакого закону нету. — Погоди, погоди, — обращается он к караульщику, — и тебе попадет! Я тебе припомню эти подметки. Как петуха зарезу — дай срок!

Октябрь того же года. Пошли плакаты, митинги, призывы:

— Граждане! Товарищи! Осуществляйте свой великий долг перед Учредительным Собранием, заветной мечтой вашей, державным хозяином земли русской! Все голосуйте за список номер третий!

Мужики, слушавшие эти призывы в городе, говорят дома:

— Ну и пес! Долги, кричит, за вами есть великие! Голосить, говорит, все будете, все, значит, ваше имущество опишу перед Учредительным Собранием. А кому мы должны? Ему, что ли, глаза его накройся? Нет, это новое начальство совсем никуда. В товарищи заманивает, горы золотые обещает, а сам орет, грозит, крест норовит с шеи сорвать. Ну да покой:

кабы не пришлось голосить-то тебе самому в три голоса!

Сидим, толкуем по этому поводу с бывшим старостой, небогатым, середняком, но справным хозяином. Он говорит:

— Да, известно орут, долгами, недоимками пугают. Теперь вот будем учредительную думу собирать, будем, говорят, кандидата выбирать. Мы, есть слух, будем кандрак составлять, будем осуждать, а он будет подписываться. Когда где дорогу провесть, когда войну открыть, он будет у нас должон теперь спроситься. А разве мы знаем, где какая дорога нужна? Я вот богатый человек, а я отроду за Ельцом никогда не был. Мы вот свою дорогу под горой двадцать лет дерьмом завалить не можем: как сойдемся — драка на три дня, потом три ведра водки слопаем и разойдемся, а буерак так и останется. Опять же и войну открыть против какого другого царя я не могу, я не знаю: а может он хороший человек? А без нас, говорят, нельзя. Только за что ж за это кинжал в бок вставлять? Это Бог с ним и с жалованием в этой думе!

— Да то-то и дело, — говорю я, — что жалованье-то хорошее.

— Ну? Хорошее?

— Конечно, хорошее. Самый раз тебе туда.

Думает. Потом, вздохнув:

— Меня туда не допускай, я большевик: у меня три десятины земли купленные, две лошади хороших.

— Ну вот, кому же, как не тебе и быть там? Ты хозяин.

Подумав и оживляясь все более.

— Да! Это было бы дело! Я бы там свой голос за людей хорошего звания подавал. Я бы там поддержал благородных лиц. Я бы там и ваше потомство вспомнил. Я бы не дал у своих господ землю отбирать. А то он, депутат-то этот, себе нажить ничего не мог а у людей черт его несет отымать самохватом. Вон у нас выбрали в волость, а какой он депутат? Ругается матерком, ничего у него нету, глаза пьяные, так и дышит огнем воюющим. Орет, а у самого и имения-то одна курица. Ему дай хоть сто десятин, опять через два дня «моряк» будет. Разве его можно со мной сменить? Копал, копал в бумагах, а ничего не нашел, стерва поганая, и читать ничего не может, не умеет, — какие такие

мы читатели? Всякая овца лучше накричит, чем я прочитаю!

Беседует со мной об Учредительном Собрании и самый страстный на всей нашей деревне революционер Пантюшка. Но и он говорит очень странные вещи:

— Я, товарищ, сам социал-демократ, три года в Ростове-на-Дону всеми газетами и журналами торговал, одного «Сатирикону», небось, тысяча номеров через мои руки прошло, а все-таки прямо скажу: какой он черт министр, хоть Гвоздев этот-то самый? Я сер, а он-то много белее меня? Воротится, не хуже меня, в деревню, и опять мы с ним одного сукна с онучей. Я вот лезу к вам нахрапом: «товарищ, товарищ», а, по совести сказать, меня за это по шее надо. Вы вон в календарь зачислены, писатель знаменитый, с вами самый первый князь за стол может сесть по вашему дворянству, а я что? Я и то мужикам говорю: эй, ребята, не промахнитесь! Уж кого, говорю, выбирать в это Учредительное Собрание, так уж понятно, товарища Бунина. У него там и знакомые хорошие найдутся и пролезть он там может куда угодно...

Вечером у В. А. Розенберга. И опять: я ему об успехах добровольцев, а он о том, что они в занятых ими городах «насилиют свободу слова». Кусаться можно кинуться.

Ночью.

Вспомнилось: пришла весть с австрийского фронта, что убили Володьку. Старуха в полушубке (мать) второй день лежит ничком на нарах, даже не плачет. Отец притворяется веселым, все ходит возле нее, без умолку и застенчиво говорит:

— Ну и чудна ты, старуха! Ну и чудна! А ты что ж думала, они смотреть будут на наших? Ведь он, неприятель-то, тоже обороняется! Без этого нельзя! Ты: бы сообразила своей глупой головой: разве можно без этого?

Жена Володьки, молодая бабенка, все выскакивает в сенцы, падает там головой на что попало и кричит на разные лады, по-собачьи воеет. Он и к ней:

— Ну вот, ну вот! И эта тоже! Значит, ему не надо было обороняться? Значит, надо было Володьке в ножки кланяться?

И Яков: когда получил письма, что

его сына убили, сказал, засмеявшись и как-то странно жмурясь:

— Ничего, ничего, Царство Небесная! Не тужу, не жалею! Это Богу свеча, Алексеич! Богу свеча, Богу ладан!

Но истинно Бог и дьявол поминутно сменяются на Руси. Когда мы сидели в саду у шалаша, освещенного через сад теплым низким месяцем, и слушали, как из деревни доносится крик, воя жены Володьки, мещанин сказал:

— Ишь, стерва, раздолевается! Она не мужа жалеет, она его штуки жалеет...

Я едва удержался, чтобы не дать ему со всего размаху палкой по башке. Но в шалаше, радуясь месяцу, нежно и звонко закричал петух, и мещанин сказал:

— Ах, Господи, до чего хорошо, сладко! За то и держу, ста целковых за него не возьму! Он меня всю ночь веселит, умиляет...

Дочь Пальчикова (спокойная, миловидная) спрашивала меня:

— Правда, говорят, барин, к нам сорок тысяч пленных австрийцев везут?

— Сорок не сорок, а правда, везут.

— И кормить их будем?

— А как же не кормить? Что ж с ними делать?

Подумала.

— Что? Да порезать да покласть...

Мужики, разгромившие осенью семнадцатого года одну помещичью усадьбу под Ельцом, оципали, оборвали для потехи перья с живых павлинов и пустили их, окровавленных, летать, метаться, тыкаться с пронзительными криками куда попало.

Но что за беда! Вот Павел Юшкевич уверяет, что «к революции нельзя подходить с уголовной меркой», что содрогаться от этих павлинов — «обывательщина». Даже Гегеля вспомнил: «Недаром говорил Гегель о разумности всего действительного: есть разум, есть смысл и в русской революции».

Да, да, «бьют и плакать не велят». Каково павлину, и не подозревавшему о существовании Гегеля? С какой меркой, кроме уголовной, могут «подходить к революции» те священники, помещики, офицеры, дети, старики, черепа которых дробит победоносный демос? Но какое же дело Павлу Юшкевичу до подобных «обывательских» вопросов!

Говорят, матросы, присланные к нам из Петербурга, совсем осатанели от пьянства, от кокаина, от своеволия.

Пьяные, врываются к заключенным в чрезвычайке без приказов начальства и убивают кого попало. Недавно кинулись убивать какую-то женщину с ребенком. Она молила, чтобы ее пощадил ради ребенка, но матросы крикнули: «Не беспокойся, дадим и ему маслинку!» — и застрелили и его. Для потехи выгоняют заключенных во двор и заставляют бегать, а сами стреляют, нарочно делая промахи.

11 июня.

Проснувшись как-то особенно ясно, трезво и с ужасом понял, что я просто погибаю от этой жизни и физически, и душевно. И записываю я, в сущности, черт знает что, что попало, как сумасшедший... Да впрочем не все ли равно!

Едва дождался газет. Все очень хорошо:

«Мы оставили Богучар... Мы в 120 верстах западнее Царицына... Палач Колчак идет на соединение с Деникиным...»

И вдруг:

«Угнетатель рабочих Гришин-Алмазов застрелился... Троцкий в поездной газете сообщает, что наш миноносец захватил в Азовском море пароход, на котором известный черносотенец и душегуб Гришин-Алмазов вез Колчаку письмо Деникина. Гришин-Алмазов застрелился».

Ужасная весть. И вообще день большого волнения. Говорят, будто Деникин взял Феодосию, Алушту, Симферополь, Александровск...

Четыре часа.

Мир с немцами подписан. Деникин взял Харьков!

Поделился радостью с дворником Фомой. Но он пессимист:

— Нет, барин, навряд дело этим кончится. Теперь ему трудно кончиться.

— А как же и когда оно по-твоему кончится?

— Когда! Когда побелеет воронье крыло. Теперь злодей укрепился. Вон красноармейцы говорят: «Вся беда от жидов, они все коммунисты, а большевики все русские». А я думаю, что они-то, красноармейцы-то эти и есть злу корень. Все ярыги, все разбойники. Вы посчитайте-ка, сколько их теперь из всех нор вылезло. А как измываются над мирным жителем! Идет по улице

и вдруг: «Товарищ гражданин, который час?» А тот сдуру вынет часы и брякнет. «Два часа с половиной». — «Как, мать твою душу, как два с половиной», когда теперь по-нашему, по-советски пять? Значит ты старого режима!» — Вырвет часы и оо мостовую трах! Нет, он очень укрепился и все прочие ослабели и, взгляните как прежний господинидаматеерьполицейдет: одет в чем попало воротничок смялся, щеки не оритые, а дама без чулок на босу ногу, ведро с водой через весь город тащит — все мол, наплевать. Да я и про сею скажу: все чего-то ждешь, никакого дела делать не хочешь. Даже и лето как оудто еще не наступало

бог шельму метит. Еще в древности была всеобщая ненависть к рыжим скуластым. Сократ видеть не мог оледных. А современная уголовная антропология установила у огромного количества так называемых «прирожденных преступников» — оледные лица оольшие скулы, грубая нижняя челюсть глуооко сидящие глаза

как не вспомнить после этого Ленина и тысячи прочих? (Впрочем, уголовная антропология отмечает среди прирожденных преступников и особенно преступниц и резко противоположный тип кукольное «ангельское» лицо, вроде того, что было, например, когда-то у Коллонтай.

А сколько лиц бледных, скуластых, с разительно асимметричными чертами среди этих красноармейцев и вообще среди русского простонародья — сколько их этих атавистических особей, круто замешанных на монгольском атавизме! Бесь. Муромъ Чудь оологлазая... И как раз именно из них, из этих самых русичей, издревле славных своей антисоциальностью давших столько «удалых разбойничков», столько ородягов, оегунов, а потом хитровцев, оосяков как раз из них и вероовали мы красу, гордость и надежду русской социальной революции. Что ж дивиться результатам

Тургенев упрекал Герцена: «Вы преклоняетесь перед тулупом видите в нем великую олагодать, новизну и оригинальность оудущих форм». Новизна форм! В том-то и дело что всякий русский оунт (и ооооенно теперешний) прежде всего доказывает, до чего все старо на Руси и сколь она жаждет

прежде всего бесформенности. Спокон веку были «разооинички» муромские, орынские, саратовские, бегуны, шатунь, оунтари против всех и вся ярыги голь карацкая, пустосяты, сеятели всяческих лжеи несбыточных надежд и свар Русь классическая страна буйна был и святой человек был и строитель высокой, хотя и жестокой крепости. Но в какой долгой и непрестанной борьбе были они с буйном, разрушителем, со всякою крамолой, сварой, кровавой «неурядицей и нелепицей»

Уголовная антропология выделяет преступников случайных: это случайно совершившие преступление, «люди чуждые антисоциальных инстинктов». Но совершенно другое говорит она о преступниках «инстинктивных». Эти всегда как дети как животные и главнейший их признак коренная черта — жажда разрушения, антисоциальность.

Вот преступница девушка. В детстве упорна, капризна, с отрочества у нее резко начинает проявляться воля к разрушению. рвет книги, овет посуду, жжет свои платья. Она много и жадно читает и люоимое ее чтение — страстные запутанные романы, опасные приключения, оосерденные и дерзкие подвиги. Влюоляется в первого попавшегося, привержена дурным половым наклонностям. И всегда чрезвычайно логична в речах, ловко сваливает свои поступки на других, лжива так нагло уверенно и чрезмерно, что парализует сомнения тех, кому лжет. Вот преступник юноша. Гостил на даче у родных, ломал деревья, рвал обои, оил стекла осквернял эмблемы религии всюду рисовал гадости. «Типичный антисоциалет...» И таких примеров тысяча

В мирное время мы забываем что мир кишит этими выродками, в мирное время они сидят по тюрьмам по желтым домам. Но вот наступает время когда «державный народ» восторжествовал, двери тюрем и желтых домов раскрываются, архивы сыских отделений жгутся — начинается вакханалия Русская вакханалия превзошла все до нее оывшее — и весьма изумила и огорчила даже тех, кто много лет звал на Стенькин Утеc — послушать «то, что думал Степан». Странное изумление! Степан не мог думать о социальном Степан был «прирожденный» — как раз из той злодейской породы, с которой, может быть, и в



самом деле предстоит новая долготная борьба.

Лето семнадцатого года помню как начало какой-то тяжелой болезни, когда уже чувствуешь, что болен, что голова горит, мысли путаются, окружающее приобретает какую-то жуткую сущность, но когда еще держишься на ногах и чего-то еще ждешь в горячем напряжении всех последних телесных и душевных сил.

А в конце этого лета, развертывая однажды утром газету, как всегда прыгающими руками, я вдруг ощутил, что бледнею, что у меня пустеет темя, как перед обмороком: огромными буквами ударил в глаза истерический крик. «Всем, всем, всем!» — крик о том, что Корнилов — мятежник, предатель революции и родины...»

А потом было третье ноября.

Каин России, с радостно-безумным остервенением бросивший за тридцать сребреников всю свою душу под ноги дьявола, восторжествовал полностью.

Москва, целую неделю защищаемая горстью юнкеров, целую неделю горевшая и сотрясавшаяся от канонады, сдалась, смирилась.

Все стихло, все преграды, все заставы божеские и человеческие пали — победители свободно овладели ею, каждой ее улицей, каждым ее жилищем, и уже водружали свой стяг над ее оплотом и святыней, над Кремлем. И не было дня во всей моей жизни страшнее этого дня, — видит Бог, воистину так!

После недельного плена в четырех стенах, без воздуха, почти без сна и пищи, с забаррикадованными стенами и окнами, я, шатаясь, вышел из дому, куда, наотмашь швыряя двери, уже три раза врывались, в поисках врагов и оружия, ватаги «борцов за светлое будущее», совершенно шальных от победы, самогонки и архискотской ненависти, с пересохшими губами и дикими взглядами, с тем балаганным излишеством всяческого оружия на себе, каковое освящено традициями всех «великих революций».

Вечерел темный, короткий, ледяной и мокрый день поздней осени, хрипло кричали вороны. Москва, жалкая, грязная, обесцвеченная, расстрелянная и

уже покорная, принимала будничного вида.

Поехали извозчики, потекла по улицам торжествующая московская чернь. Какая-то паскудная старушонка с яростно-зелеными глазами и надутыми на шею жилами стояла и кричала на всю улицу:

— Товарищи, любезные! Бейте их, казните их, топите их!

Я постоял, поглядел — и побрел домой. А ночью, оставшись один, будучи от природы весьма несклонен к слезам, наконец заплакал и плакал такими страшными и обильными слезами, которых я даже и представить себе не мог.

А потом я плакал на Страстной неделе, уже не один, а вместе со многими и многими, собиравшимися в темные вечера, среди темной Москвы, с ее наглухо запертым Кремлем, по темным старым церквам, скудно озаренным красными огоньками свечей, и плакавшими под горькое страстное пение: «Волною морскою... гонителя, мучителя под водою скрыша...»

Сколько стояло тогда в этих церквах людей, прежде никогда не бывавших в них, сколько плакало никогда не плакавших!

А потом я плакал слезами и лютого горя и какого-то болезненного восторга, оставив за собой и Россию и всю свою прежнюю жизнь, перешагнув новую русскую границу, границу в Орше, вырвавшись из этого разливанного моря стражных, несчастных, потерявших всякий образ человеческий, буйно и с какой-то надрывной страстью орущих дикарей, которыми были затоплены буквально все станции, начиная от самой Москвы и до самой Орши, где все платформы и пути были буквально залиты рвотой и испражнениями...

13 июня.

Да, мир подписан. Ужели и теперь не подумают о России? Вот уже истинно: «Ратуйте, хто в Бога вируе!» Неистовым криком о помощи полны десятки миллионов русских душ. Ужели не вмешаются в эти наши «внутренние дела», не ворвутся наконец в наш несчастный дом, где бешеная горилла уже буквально захлебывается кровью?

15 июня.

Газеты особенно неистовы: «Германия захвачена за горло разбойничьей

шайкой! К оружию! Еще минута — и вулкан вспыхнет, пурпурное знамя коммунизма зацветет, зареет над всем миром! Но момент серьезен . . . Пусть же гудит набат! Не время калякать!»

В киевском «Коммунисте» замечательная речь Бубнова «о неслыханном, паническом, постыднейшем бегстве красной армии от Деникина».

16 июня.

«Харьков пал под лавиной царского палача Деникина. . . Он двинул на Харьков орду золотопогонных и озверелых от пьянства гуннов. Дикая орда эта, подобно саранче, двигается по изумленной стране, уничтожая все, что завоевано кровью лучших борцов за светлое будущее. Прислужники и холопы мировой своры империалистов несут трудовому народу виселицы, палачей, жандармов, каторжных труд, беспросветное рабство . . .»

Собственно, чем это отличается от всей нашей революционной «литературы»? Но черт с ними. Рад так, что мороз по голове . . .

А «ликвидация григорьевских банд» все еще «продолжается».

17 июня.

На Дерибасовской улице новый плакат: лубочный мужик с топором и рабочий с киркой яростно гвоздят по лысой голове отчаянно раскорячившегося карапуза-генерала, насквозь прокнутаго штыком бегущего красноармейца; подпись: «Бей, ребята, да позавонистей!» Это опять работа «Политуправления». И у дверей этого самого заведения встретил выходящего из него С. Юшкевича, который равнодушно сказал мне, что Харьков взят большевиками обратно.

Шел домой, как пьяный.

Ночью.

Несколько успокоился. Все уверяют, что это вздор, будто Харьков взят обратно. Мало того: говорят, что Деникин взял Екатеринослав и Полтаву, что большевики эвакуируют Курск, Воронеж, что Колчак прорвал их фронт на Царицынском направлении, что Севастополь в руках англичан (де sant в 40 000 человек).

Вечером на бульваре. Сперва сидел с женой и дочерью С. И. Варшавского.

Дочь читала. Она скаут. На вопросы отвечает поспешно, коротко и резко, как часто барышни ее лет. Розовый серп молодого месяца в тонком закатном небе за Воронцовским дворцом, бледное, нежное, чуть зеленоватое небо, вид этой милой, жадно читающей девочки и опровержение большевистских слухов о Харькове — все болезненно умиляло.

Рассказывали: когда в прошлом году пришли в Одессу немцы, «товарищи» вскоре стали просить у них разрешения устроить бал до утра. Немец комендант с презрением пожал плечами: «Удивительная страна Россия! Чего ей так весело?»

18 июня.

«Последняя отчаянная схватка! Все в ряды! Черные тучи все гуще, карканье черного воронья все громче!» — и так далее.

В Киеве доклад Раковского о международном положении: «Революция охватила весь мир . . . Хищники дерутся из-за добычи . . . Контрреволюцию в Венгрии мы потопим в крови!» И дальше: «Позор! В Харькове четыре деникинца произвели неопишную панику среди наших многочисленных эшелон!» И как венец всего: «Падение Курска будет гибелью мировой революции!»

---

Только что был на базаре. Бежит какой-то босж, в руках экстренный выпуск газеты: «Мы взяли назад Белгород, Харьков и Лозовую!» — Буквально потемнело в глазах, едва не упал.

19 июня.

Вчера на базаре несколько минут чувствовал, что могу упасть. Такого со мной никогда не бывало. Потом тупость, ко всему отвращение, полная потеря вкуса к жизни. После обеда у Щ. Там Лурье, Кауфман. Телеграмме никто не верит, ее напечатали по приказу Исполкома, по настоянию Фельдмана. Я купил эту телеграмму, чтобы взвесить каждое слово. Каждое слово режет, как ножом, переворачивает душу: «Бюллетень Известий Од. Сов. раб., кр. и красноарм. депутатов. Красные войска отобрали обратно Харьков, Лозовую, Белгород. По пря-

тому проводу 18 июня, в 1 ч. 35 м. из Киева радостная весть: Харьков, Лозовая, Белгород очищены от белогвардейских банд, которые в панике бегут. Судьба Деникина решена! В Курске ликование пролетариата. Мобилизация проходит с небывалым подъемом. В Полтаве энтузиазм...» Итак, победа сразу на пространстве 500 верст. «Энтузиазм в Полтаве» должен показать, что она цела и сохранна. А слухи совсем другие: нашими взяты Камышин, Ромодан, Никополь.

Нынче вскопал все-таки в семь и купил газеты все до одной: «Циркулировавшие слухи о взятии нами обратно Харькова, Лозовой и Белгорода пока не подтверждаются...» От радости глазам не поверил.

Перед обедом были Розенберги. Дико! Они совсем спокойны, — ну что ж, «слухи пока не подтверждаются», и прекрасно...

20 июня.

«На западе бушуют волны революции... Деникин несет цепи голодного рабства... С бешеным натиском белогвардейских банд злобствует безумный, бесчеловечный террор... Беззащитный пролетариат отдан озверевшим бандам на разграбление... Надо беспощадно раздавить мозолистой рукой контрреволюционные гады на фронте и в тылу... Нужен беспощадный террор против буржуазии и белогвардейской сволочи, изменников, заговорщиков, шпионов, трусов, шкурников... Надо отобрать у буржуев излишек денег, одежды, взять заложников!»

Все это, вместе с «мозолистой рукой», долженствующей «раздавить гадь», уже не из газет, а из воззвания «Наркомвнудела Украинск. Социалист. Сов. Республики».

В городе стены домов сплошь в воззваниях. И в них, и в газетах остревенелая чепуха, свидетельствующая о настоящем ужасе этих тварей.

«Мы оставили Константиноград... Харьков занят бродячей бандой... Занятие Харькова не дало Деникину ожидаемых результатов... Мы оставили Корочу... Мы оставили Лиски... Противник отнесил нас западнее Царицына... Мы гоним Колчака, который в панике... Румынское правительство мечется в предсмертной агонии... В Германии разгар револю-

ции... В Дании революция принимает угрожающие размеры... Северная Россия питается овсом, мхом... У падающих и умирающих на улицах рабочих в желудках находят куски одеял, обрывки тряпья... На помощь! Бьет последний час! Мы не хищники, не империалисты, мы не придаем значения тому, что уступаем врагу территории...»

В «Известиях» стихи:

Товарищи, кольцо сомкнулось уже!  
Кто верен нам, беритесь за оружие!  
Дом горит, дом горит!  
Братец, весь в огне дом,  
Брось горшок с обедом!  
До жарня ль, товарищ?  
Гибнет кров родимый!  
Эй, набат, гуди, мой!

А насчет «горшка с обедом» дело плохо. У нас по крайней мере от недоедания все время голова кружится. На базаре целые толпы торгующих старыми вещами, сидящих прямо на камнях, на навозе, и только кое-где кучки гнилых овощей и картошек. Урожай в нынешнем году вокруг Одессы прямо библейский. Но мужики ничего не хотят везти, свиньям в корыто льют молоко, валят кабачки, а везти не хотят...

Сейчас опять идем в архиерейский сад, часто теперь туда ходим, единственное чистое, тихое место во всем городе. Вид оттуда необыкновенно печальный, — вполне мертвая страна. Давно ли порт помылся от богатства и многолюдности? Теперь он пуст, хоть шаром покати, все то жалкое, что есть еще кое-где в пристаней, все ржавое, облупленное, оодранное. а на Пересыпи торчат давно потухшие трубы заводов. И все-таки в саду чудесно, безлюдие, тишина. Часто заходим и в церковь, и всякий раз восторгом до слез охватывает пение, поклоны священнослужителей кажделение, все это благолепие, пристойность, мир всего того благого и милосердного, где с такой нежностью утешается, все это благолепие, пристойность, мир всего того благого и милосердного, где с такой нежностью утешается, облегчается всякое земное страдание. И подумать только, что прежде люди той среды, к которой и я отчасти принадлежал, бывали в церкви только на похоронах! Умер член редакции, заведующий статистикой, товещик по университету или по ссылке... И в церкви была все время одна мысль, одна мечта: выйти на паперть покурить. А поконник? Боже, до чего не было

никакой связи между всей его прошлой жизнью и этими погребальными молитвами, этим венчиком на костяном лимонном лбу!

Р. С. Тут обрываются мои одесские заметки. Листки, следующие за этими, я так хорошо закопал в одном месте в землю, что перед бегством из Одессы, в конце января 1920 года, никак не мог найти их.

## НЕОБХОДИМЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

В записях Бунина упоминаются: 11 мая — книга историка Ж. Ленотра (1855—1935) «Старые дома, старые бумаги»; ночь на 15 мая — государственный деятель Александр Иванович Гучков (1862—1936); 16 мая — Николай Филиппович Шишкин, на даче которого одно время жили Бунины; 21 мая — советский государственный деятель Адольф Абрамович Иоффе (1883—1927), филолог Борис Васильевич Варнеке (1874—1944); 24 мая — супруга Николая Акимовича Худякова (1890—1939), которую Бунин в другой записи называет Марфой Яковлевной; 27 мая — академик Никодим Павлович Кондаков (1844—1925); 28 мая — Виталий Маркович Домбровский (ум. в январе 1921 г.); 29 мая — Павел Петрович Мизанкевич (1866—1919); 31 мая — Роза Люксембург; 9 июня — советский дипломат Леван Михайлович Карахан (1889—1937), издатель Зинновий Исаевич Гржебин (1869—1929), деятель кадетской партии Федор Федорович Кокошкин (1871—1918), убитый матросами в больнице накануне открытия Учредительного собрания; 10 июня — журналист Александр Александрович Яблоновский (1870—1934), Владимир Феофилович Зеелер (1874—1954), журналист Павел Соломонович Юшкевич (1873—?); 19 июня — Татьяна Львовна Щепкина-Куперник («Щ.»), которая, по записи В. А. Муромцевой-Буниной, сказала ей 20 июня: «Можете спать спокойно. Из Москвы пришло приказание — “писателей не трогать”». Редакция выражает благодарность хранительнице бунинского архива Милице Эдуардовне Грин (Эдинбург) и краеведу Евгению Михайловичу Голубовскому за помощь при составлении примечаний.



Сергей Тодоров.\*\*\*

### НАКАНУНЕ РАДИКАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН

Состояние критики само по себе показывает степень образованности всей литературы.

А. С. Пушкин

В 1897 году Райнис сожалел: «Критики вымирают, их заменяют референты».

Более всего поэта не удовлетворяло отсутствие в латышской критике аналитичности. По его мнению, решающее слово перешло к поверхностным пересказчикам содержания произведений и до безразличия бесстрастным толкователям авторских выводов.

Сегодня Райнис мог бы констатировать еще более печальное положение вещей — то, что в Латвии литературная критика вымерла вообще, причем на ее место не пришел даже бойкий и разноголосый отряд поверхностных толмачей. Вдобавок ко всему, в одном из слоев литературной общности аллергия к критике приобрела характер эпидемии, поскольку в периодике, в этой основной среде, реализующей критическую мысль, к власти пришли именно носители и переносчики бацилл вышеупомянутой эпидемии.

Да, в констатации подобного положения вещей нет ни преувеличения, ни демагогической риторики. На протяжении уже длительного периода времени не осуществляется систематическое рецензирование новых книг, не говоря уже о более глубокой оценке и анализе литературного процесса в целом.

Почему создалось такое положение?

Причин, очевидно, отыщется много.

Одну из них можно сформулировать популярной фразой: все ушли на фронт!

В самом деле, самоотверженное включение творческой интеллигенции республики в общественные процессы и обращение ее к политике — факт общеизвестный. И поэтому нет ничего удивительного в том, что на фронт отправились и литературные критики во главе со своим коллегой Дайнисом Ивансом, председателем Латвийского народного фронта.

Возможно, это звучит отчасти иронично. Не хотелось бы, однако, оказаться понятым превратно. Считаю, что активное включение творческой интеллигенции республики, и среди них, конечно же, писателей и критиков, в процессы перестройки общества является, без сомнения, шагом историческим. По-моему, в прошлом латышского народа творческая интеллигенция никогда еще не оказывала столь радикального и определяющего влияния на ход общественной мысли, не была в силах столь способствовать пробуждению и укреплению национального самосознания, не могла занять позиции идеологического лидера в решении всех конкретных жизненных проблем. Темы «Искусство и политика», «Интеллигенция и народ» окажутся, конечно же, наиболее важными и интересными при — в перспективе — изучении истории культуры Латвии конца XX века.

В данной статье эти темы затронуты не будут, хотя теперь они и привлекают меня более остальных.

Но, по-моему, невозможно более откладывать и разговор о том, почему в Латвию пришла в упадок критика.

В контексте этого разговора весьма уместным представляется вынесенное в эпиграф наблюдение А. С. Пушкина. Столь же актуальными в этом контексте окажутся и слова Вениамина Каверина: «Если к критике относятся только со злостью, значит, что-то не в порядке и в самой литературе».

Начавшаяся в апреле 1985 года революция, которую со всеми на то основаниями мы называем перестройкой в стране, оказалась вполне наглядным критерием и для литературы. Теперь отчетливо видно — насколько честно литература служила обществу и искусству. После апреля 1985 года, через двери, распахнутые демократизацией и открытостью, в мир, покинув писательские столы, смогли выйти произведения, публиковать которые не дозволялось. А не дозволялось — как правило, самое ценное, идеологически глубокое, острое. Лучшее не издавали, замалчивали в учебниках.

Теперь, после апреля 1985 года, обнаружилось, что послевоенная латышская литература практически не создала произведений, которых в свое время нельзя было бы издать либо упомянуть в учебниках.

Поэтому следует признаться коротко и ясно: ни во времена Хрущева, ни во времена Брежнева у нас почти что не было «непубликабельных» произведений. Хотя, конечно, существовали и писатели, чьи биографии не попадали в энциклопедии, но это определялось субъективно-волюнтаристической прихотью представителей особой клики. Общее плачевное состояние литературы не могли изменить ни редкие, в то время не опубликованные стихотворения, рассказы и один-два (буквально) романа.

Русского читателя поразила и продолжает поражать лавина доселе запрещенных прекрасных произведений литературы. В Латвии подобное, увы, невозможно.

Это, вне всяких сомнений, факт скорбный. Но игнорировать либо замалчивать его — нежелательно. Без его учета не смогут быть поняты верно взаимоотношения критики и литературы Латвии в послевоенный период.

Теперь в нашей республике спешно издаются самые ценные произведения из литературного наследия. Они созда-

ны и изданы до второй мировой войны. Это классика. Эти произведения теперь необходимо ввести в исторические анналы латышской литературы, в школьные программы, в учебники, поскольку некоторые довоенные литераторы либо замалчивались, либо оказывались представленными в сильно искаженном виде — чаще всего в соответствии с идеолого-политическими интересами того или иного времени. Их надо вернуть из забвения, перенести с литературной периферии на магистральный путь. Требуется скорректировать существовавшую доселе иерархию литературных личностей и явлений.

Понятно, что на послевоенное развитие латышской литературы неблагоприятно повлияла политика сталинизма и неосталинизма, которая была направлена главным образом против идейной самостоятельности, творческого взаимодействия отдельных индивидуальностей, против их независимости. Мировая война, депортации 1941 и 1949 годов, «охота на ведьм» в 1959-м фактически рассеяли и уничтожили самую ценную часть латышской интеллигенции. Разрушительное влияние на нашу литературу оказали и такие явления застойного периода, как администрирование, демагогия, вульгарно-социологический подход, прямое сведение счетов с инакомыслящими, тенденция отвергать то, что непонятно, стремление отстранить и репрессировать людей, взгляды которых не удастся опровергнуть в открытом диспуте.

И, в результате, в латышскую литературу смогли войти люди, которые прекрасно умели создавать и использовать литературную конъюнктуру, но которым заметно недоставало философичности, глубины мысли и наблюдательности, художественности, да и просто человеческих качеств: любви и теплоты. В этой связи выдающийся латышский художник Карлис Миесниекс высказал в одном из разговоров очень, по моему мнению, верную мысль: «Почему писатели пишут плохо? Сердечности нет. Должно быть умение. Сердечность быть должна».

Юрий Лотман афористично сформулировал: «Там, где есть Великая Литература, низкопробная псевдолитература погибнет сама, как сорняки у корневой дуба».

После Андрея Упита, Яниса Судрабалнса, Александра Чака в латышской литературе таких дубов-громов, о ко-

торых говорил Юрий Лотман, становилось все меньше и, очевидно, в последнее время они исчезли совсем.

Борис Эйхенбаум писал, что сразу после Октябрьской революции наблюдалось интересное явление. В круг литературных интересов стремительно вошла мировая литература. Все стали интересоваться зарубежной литературой. Многие стали переводчиками и редакторами переводов, участниками реализации грандиозных планов издательства «Всемирная литература» А. М. Горького. Никто не мог объяснить, почему в революционное время необходимым оказалось присутствие духовных ценностей мировой литературы. Но в то же время все понимали, что именно так быть и должно.

После апреля 1985 года в нашей республике все больше и чаще пишут о русской литературе. Все стали читать и восторгаться ранее не изданными произведениями русских литераторов. Можно даже сказать, что энтузиазм, вызванный «Детьми Арбата», куда сильнее энтузиазма по поводу также изданного лишь недавно, впервые после второй мировой войны, романа классика латышской прозы А. Вирзы «Страумени».

Общество, конечно, не могло не ощущать малокровия латышской литературы, ее слабой связи с реальными жизненными процессами в моральной и социальной сферах, о чем, например, такой опытный критик, как Ингрида Киришентале, писала: «Наиболее острое неудовольствие возникает, когда мы пытаемся рассматривать нашу прозу как свидетельство времени, как отражение проблем нашего национального существования, происходящих в обществе социально-этических и иных процессов, как свидетельство человеческой жизни, ее каждодневных забот, труда, мечтаний, идеалов, боли и традиций. С каждым годом все более усиливается тревога за сужение картины жизни и крайнее ограничение слоя общества, который занял настолько стабильное положение в прозе последних пятнадцати лет, что отдельные исключения лишь подтверждают эту закономерность» («Литература ун максла», 1 января 1987 года).

Общественная неудовлетворенность у нас обращается, увы, не против литературного конформизма, а против критиков. В результате за последние десять лет критика осуждалась куда как

более сурово, нежели сама литература.

На критику сердятся и литераторы. Более всего поэты. Им кажется, что книги латышской поэзии все реже покупают и все меньше читают потому лишь, что критика не в состоянии уловить сущность новой поэзии, неверно интерпретируя ее в печати.

Конечно, известная часть критики в своей работе ориентировалась на аплодисменты поэтов и прозаиков. Ожидала их, а часто и дожидалась.

Все же в целом критика довольно долго оказывала сопротивление нажимам различного толка. Но не выдержала и постепенно сдала свои позиции. Критика стала хиреть и в конце концов оказалась поражена всеобъемлющим комплексом неполноценности. Что, в свою очередь, вызвало к жизни организуемые чуть ли не через год основательные самоинвентаризационные диспуты в форме дискуссий. Подобная полемика длилась месяцами, иной раз — в течение нескольких лет.

Определяющее положение в критике заняла критика критики.

О чем, например, более всего спорили в 80-е годы латышские критики? О моральном климате, в котором живут герои латышской прозы? Или, может быть, дискутировали об отражении социальной проблематики? Нет, ничего подобного не происходило. В центре внимания критики в 80-е годы была сама критика. Доминировали авторефлексии.

В последнее время наиболее полно (и самокритично) положение в латышской критике оценил Янис Шкапарс в статье «Можно ли «подлатать» критику?» («Литература ун максла», 16 января 1987 года). Статья завершала очередной многомесячный разговор о критике.

Янис Шкапарс старался нащупать причины кризиса латышской критики. Следует отметить, что в принципе Шкапарсу это удалось. Не согласиться с ним трудно.

Так, например, он совершенно верно отмечает, что «застою критики» в большей степени способствовало самовосхваление, которым было обьято наше общество: «Манифестировать достижения было патриотично, честно, и практически искать решения проблем — не рекомендовалось, обостренно предупреждать общество о недостатках — поступок уже сомнительный.

Эти явления заразили и художественный процесс, в особенности же — критику. Заразили и деформировали ее».

Янис Шкапарс верно говорит и о критических кадрах. По его мнению, у нас (согласитесь — не только в Латвии) «из критики чаще всего уходили именно самые талантливые и ершистые, оставляя место посредственности, бормочущим и фанатичным компиляторам».

Кому это было выгодно? Выгодно это было многим. И части писателей, о которых Янис Шкапарс пишет: «К сожалению, для большей части латышских писателей на переднем плане было выживание, духовный и материальный комфорт, умиротворенная надежность; при столкновении с серьезным сопротивлением обстоятельств латышский писатель часто погрязал в конформизме. Привыкая — для себя почти незаметно — преподносить в прекрасном художественном облике полуправду и четвертьправду, бесконфликтные зарисовки, психологические набросочки, критики прекратили писать и оставили критику».

В статье Яниса Шкапарса заметна самокритика. К тому же это самокритика нового типа, какую в Латвии мы, возможно, читаем впервые.

Конечно, самокритики вроде бы не было в недостатке и раньше. Но по большей части это была самокритика демагогическая, обращающая внимание на вещи малозначительные. Это была самокритика, звучащая подчас даже комплиментарно.

Слова Яниса Шкапарса о себе принципиально иные. Сказанное им действительно можно считать настоящей самокритикой.

О кризисе критики он готов говорить как один из виновников создавшегося положения. Долгие годы Янис Шкапарс был редактором газеты «Литература ун максла» и потому принимал активное участие в создании, так сказать, портрета латышской критики. Этого он не отрицает и готов взять на себя часть вины за возникшие искажения этого портрета.

В последнее время в Латвии приходится сталкиваться с упреком, что одной из самых существенных причин оскудения критики является ее методологическая отсталость.

Это не так.

В 60—80-е годы методологические изыскания достигли наибольшего рас-

цвета за все XX столетие. Теперь, когда в нашем прошлом мы видим и акцентируем свое внимание в основном на различных проявлениях упадка и отставаний, звучит это, наверное, сомнительно. Все же это правда. Кроме того, за этот период отдельные методологические подходы успели пройти классический для мира идей маршрут: от спонтанных проявлений в форме манифеста до последовательной уравновешенности научных результатов, выраженных в жанре монографии.

Методологические новации последних десятилетий оказались весьма интересными и жизнеспособными. Вне всяких сомнений, если оценивать их не по «специфически латышским критериям», как недостаток более широкого кругозора и нежелание обогатить себя достижениями других культур иронически обозначил известный латышский общественный деятель и юрист Петр Стучка.

Прошедшие десятилетия принято называть временем методологического бума. Теория информации, структурализм, теория мифа, структурно-семиотический, системный подход — это методологические направления, которые прекрасно отвечают стремлениям литературной науки преодолеть описательно-эмпирический подход и по возможности подняться до высот абстрактной теории.

Но почему же, тем не менее, в Латвии возникло представление о методологическом отставании? Как известно, в подобном критику упрекают не только в нашей республике.

Причин две.

Как и в других сферах общественного сознания, в литературной науке долгое время существовали официальная и неофициальная методологии. К методологии неофициальной причислялись теоретические изыскания, которые подлежали постоянному охаванию, притеснению, замалчиванию. В них якобы отражался неприемлемый для нас взгляд на мир. Это был традиционный упрек.

К счастью, происходило подобное не во всех областях знания. В философии тон задавали новые методологические подходы. Полностью противоположное положение установилось в литературной науке, где, скажем, всемирно известную тартускую школу (ее представители успешно работают и в Латвии) преследовали непрерывно, и даже по



сей день, по инерции что ли, обращают в ее адрес весьма злобные эпитеты.

Признана была лишь официальная теоретическая база. Но она, увы, хирела и ожидаемых результатов более не приносила. Новые методологические подходы игнорировались, и достигнутые при их посредстве результаты замалчивались. В конце концов укрепились точка зрения, что никаких результатов и достижений у нас нет, а виновата методологическая отсталость.

Это первая причина неверного представления.

Вторая причина остроумнее.

Литературные специалисты, интересовавшиеся новыми методологическими подходами и желавшие проверить новые теоретические конструкции в анализе конкретного материала, были постепенно вынуждены сконцентрировать свои интересы не на литературной науке, но на культурологии, лингвистике, этнологии.

Почему?

Объяснение лаконично: в литературной науке был очень силен консервативно-бюрократический слой литературной администрации, который со всей энергией бдительного «хозяина» набрасывался на все нетрадиционное. В результате методологические идеи, которые поначалу ориентировались на исследование литературы, были обращены на другой предмет.

Методологический кризис в литературной науке действительно имеет место. Только не там, где его стараются разглядеть ортодоксальные представители литературной науки. Духовный кризис возник в самой их среде, к чему привели поиски идеально правильной и безошибочной методологии, ничего в результате не давшие, что и вызвало застой в теории.

В заключение хочу отметить один — по-моему, весьма характерный для латышской литературной критики — момент. В последние десятилетия у нас

не любили писать о наиболее ценных литературных явлениях. О произведениях, которые уже, очевидно, выдержали проверку временем и прочно вошли в «золотой фонд» латышской литературы.

В этом смысле один из наиболее ярких примеров — творчество Албертса Белса. Писатель работает в литературе уже два десятилетия. Его рассказы и романы издаются за рубежом и в других наших республиках. А в Латвии о творчестве Белса опубликованы лишь три-четыре статьи, не говоря уже о посвященной его творчеству монографии.

Очень мало написано и о таком мастере нашей прозы, как Владимир Кайякс. Ели об Албертсе Белсе существует хотя бы несколько статей и обзор его творчества помещен в новой книге «Современная латышская советская литература 1960—1980», то Владимиру Кайяксу в этой книге места не нашлось, да и припомнить сразу какую-нибудь более или менее серьезную статью о нем трудно. Впрочем существует известная разница между Белсом и Кайяксом — Кайякса критики предпочитают интервьюировать, так что время от времени в газетах появляются беседы с ним . . .

Считаю, что серьезно исследования, монографии давно уже заслужила проза Висвалдиса Ламса. Он к тому же один из немногих латышских прозаиков, в свое время не опасавшихся сочинять «непубликабельные» вещи.

Думаю, латышская литература и критика теперь находятся в переходном периоде. Всем ясно, что по старому пути литературная мысль двигаться уже не может. Но по-настоящему не сформулирован пока и новый путь. Мы все знаем, каким этот путь быть должен, но необходимость сделать первый шаг сохраняется заданием некоего исторического будущего.

Перевел Андрей ЛЕВКИН

## ХРОНИКА ОДНОЙ КОНТОРЫ

### ОБСУЖДАЕМ КНИГУ ВАДИМА ТОМАШПОЛЬСКОГО «НАШ ДИЛЕКТОР КОЛИДОРОВ» (Р.: Лиесма, 1988)

Прежде всего обращает на себя внимание жанр этой книги, обозначенный автором так: «сатирические сцены из деловой жизни». Подобные вещи в нынешние времена писать, наверное, гораздо сложнее, чем в недавно прошедшие. Искушенный читатель с понимающей улыбкой вспомнит М. Е. Салтыкова-Щедрина: «Это я в газетах читал и потому могу говорить свободно».

Эпоха (сейчас почему-то в ходу только такие безразмерные хронологические единицы), которую применительно к сатире можно поименовать «эпохой кукиша в кармане», породила свои тематические, жанровые, стилиевые каноны. Ориентация на них ощутима в рассказах сборника, помеченных датами 1983 г. («Хроника одной конторы»), 1984 г. («Конечный результат»). Здесь использована традиционная, в общем, форма сатирического обозрения, классификация типов. «Хроника одной конторы» — вариации на тему вечной «Истории города Глупова». С калейдоскопической быстротой сменяют друг друга столоначальники некоей Конторы: «отставной заслуженный человек» Шурале Лукич Альманакер, номенклатурный работник Храбрюк, явившийся из недр самой Конторы П. П., «выдвиженщина» К. Ф. Гладкая, блатмейстер Робингуд, недоношенное дитя НТР Буратинов.

В центральном эпизоде рассказа (точнее, маленькой повести) «Конечный результат», где «властители и

судьи» провинциального Старобылдова несут свои «мыслинки и задумки» новому «градоначальнику» цветущему 87-летнему «прогрессисту» Железяко, — перед нами вновь живая очередь знакомых до зубной и сердечной боли типов, парад-алле изобретательных антропонимов, заставляющий вспомнить записные книжки И. Ильфа, в которых — целый склад подобных имензаготовок, поименный список невоплощенных обитателей «края непуганых идиотов».

В злом остроумии автора «Конечного результата» прекрасно узнаваем черныи юмор самосохранения, при помощи которого мысливающий человек в вышеупомянутую эпоху пытался выпасть из числа действующих лиц театра абсурда. Впрочем, иллюзорность представления, что они — «наш дилектор Колидоров» и К' — там, на сцене, а мы — лишь зрители, сидим по другую сторону рампы и горько смеемся сквозь слезы, — В. Томашпольский прекрасно понимает. В цикле бывальщин, своего рода «охотничьих рассказов» из жизни инженерно-технических работников «Восхищение своим принципалом», ерническая, ироническая интонация повествователя, рассказывающего о своих похождениях и мытарствах в управленческих «сферах», вдруг обрывается тихим криком ужаса — на что уходит жизнь! «Какой ты к дьяволу двигатель! Ты чиновник, в жалкой беготне которого минимум инженерной мысли и максимум дешевой суеты... Можешь, конечно, тешить себя иллюзиями, какой ты молодчик, какой ты пробивной и энергичный, как обдурил одного и прорвался к другому, но что

<sup>1</sup> Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч.: В 20-ти тт. М., 1973, т. 15, кн. 1 — с. 12.

же там, на вершине, куда ты карабкаешься — истина? Клад? Да нет же, там просто чья-то подпись, четверть грамма чернил». Тоска героя от того, что ему приходится быть функционирующей частью организма, чья порочность для него очевидна. Но в этом — и печальная фора автора: чтобы описать физиологические подробности этого существования «рассудку вопреки, наперекор стихиям», ему не надо обременять себя творческими коаидировками с целью изучения жизненного материала.

Наверное, коллеги инженера Томашпольского будут читать «Восхищение своим принципалом» с особым удовольствием узнавая прототипов, ситуаций, деталей. Но хорошая наблюдательность и умение остроумно резюмировать — лишь условие, исходная база для работы в жанре сатирической публицистики. Русская литература еще в гоголевские времена выросла из коротких штанишек сатиры на отдельные недостатки и лица (принцип последней блестяще сформулирован в «Ябеде» В. Капниста — «законы святы, но исполнители — лихие супостаты»<sup>1</sup>). По словам Н. Добролюбова, «сатира борется против существенного зла», она должна явиться «грозиым обличением против того, от чего происходят общие народные недостатки и бедствия»<sup>2</sup>. Автор рецензируемой книги безусловно разделяет этот тезис, ибо главный объект его сатирического интереса — административно-командная Система в целом. Мир Конторы, изображенный В. Томашпольским, заставляет вспомнить об анекдотическом паровозе, три четвертых КПД которого уходят на свисток. Впрочем, диагноз автора еще более беспощаден: перед нами уже просто свисток в виде модели паровоза в натуральную величину.

Фантомную сущность Системы автор пытается выразить прежде всего через язык. Он не упускает возможности продемонстрировать младенческую невинность своих героев по части правил орфоэпии и орфографии. Но дело не только в этом. Система выработала собственный язык — «аппаратную латынь», чудовищную смесь

Вадим  
**ТОМАШПОЛЬСКИЙ**  
Наш дилектор  
Колидоров



бюрократического арго с газетными штампами, клише, выполняющими роль ритуальных заклинаний. На пародийном использовании такого волапюка построен рассказ «Сообщения на первую полосу» с его рефреном: «Комитет советов при участии совета комитетов, рассмотрев вопрос об улучшении деятельности по всем основным направлениям, повышении качества и увеличении роста объемов, признали необходимым шире и глубже развернуть работу в указанной области. Необходимо улучшить деятельность по всем направлениям, повисить качество, увеличить рост объемов. Это позволит обеспечить все то, что надо обеспечить».

Язык утратил свои функции выражать мысль и быть средством общения. Он лишь удостоверяет лояльность, являясь знаком принадлежности к Системе. Лингвистический монстр, олицетворяющий ее суть, скрипя сочленениями аббревиатур, неумолимо надвигается, пожирая по пути все живое. Эта гротескная картина вызывает не смех, а ужас и гнев — чувства, очень нужные нам сейчас, в момент трезвого анализа и очищения.

<sup>1</sup> Капнист В. Избранные произведения. — Л., 1973 — с. 340.

<sup>2</sup> Добролюбов Н. Полн. собр. соч. М., 1935, т. 2 — с. 138.

## «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» ДИЛЕКТОРА КОЛИДОРОВА

Геракл, владыка, грозно как  
дым лезет, лезет из горшка  
и бешено грызет глаза, собака!

*Аристофан. Лисистрата*

«Вам жаль цивилизации?

Жаль ее и мне.

Но ее не жаль массам, которым она ничего не дала, кроме слез, нужды, невежества и унижения . . . »

Это Герцен. «Письма из Франции и Италии». Ах, Александр Иванович, барин, уехать изволили . . . А тут у нас неприятности . . . (цитата по памяти).

Книга Томашпольского — как раз об этих неприятностях. Об их плодах. О том прыще на теле общества, который в результате известных безобразий в конце концов произвел это самое тело в свой, прыща, детородный придаток, — о бюрократии.

В 1812 году французский ученый Кювье придумал для объяснения смены фаун и флор, наблюдаемых в геологических пластах, теорию катастроф. Согласно этой теории в истории Земли периодически повторяются события, внезапно изменяющие рельеф земной поверхности и уничтожающие, естественно, все живое. Теория эта не могла дать ответа на вопрос «почему?» — она лишь констатировала и обобщала имеющиеся данные.

Вадим Томашпольский, на мой взгляд, достойный последователь катастрофистов, применивший их метод исследования посредством литературы к социуму. Книга «Наш дилектор Колидоров» любопытна прежде всего тем, что ее автор, имея непосредствен-

ный контакт с описываемым «миром», не пытается ответить на вопрос «почему?», провоцируя тем самым читателя на размышления, на сотворчество . . . Плодом таких размышлений и является данная статья.

Теория катастроф давала и дает по сей день повод для рождения предположений самого экстравагантного, в том числе и мистического, толкования истории планеты. История нашего общества, включая сам факт его возникновения, — не менее благодатная почва для мистических умопостроений (вспомним романы Булгакова и Олеси, где всяческая чертовщина не менее и даже более реальна, чем жизнь людей). Обстоятельства сложились так, что в период «развитого социализма» чертовщина эта окончательно материализовалась, естественно замаразмела и, утратив способность к реально-сверхъестественному, обрела внешность и «внутренность» товарища господина Бюрократа, серию портретов которого с легкостью фокусника выбрасывает из рукава Томашпольский . . . Что ж, и это уже борьба — констатировать катастрофу, ставшую губительно-привычной, существующую и процветающую везде. Борьба не с бумажной иконкой, прицепленной себе на грудь обезумевшим «атеистом» Иванушкой Бездомным, а с трезвым скальпелем . . . писателя? журналиста? Но об этом позже.

В истории бывали периоды, когда мистические умонстроения охватывали целые народы, всю планету. Такая ситуация (гибель античного мира) сложилась к рождению Христа... Умонстроение Конца Пути, когда стершийся чугуи тормозных колодок бессильно скользит по колесу несущегося под уклон проржавевшего бронепоезда, издавая мегаваттный крысиный писк, обнаглевший до осязаемости, заполняющий весь объем доступного воздуха, ввинчивающийся в мозги обалдевших пассажиров и экипажа, разрывающий их души и сердца. Неконтролируемый рост инерции, наспех выдаваемый за запланированное и одобренное Творцом Дао. И сквозь переходящий в ультразвук сатанинский визг и скрежет только и прорвется: крик рожавшей среди скота женщины, бессильная пьяная ругань машиниста, хриплый выдох распятого... Какой уж тут застой... Великий Тормозной Путь, господа-товарищи! Да колеса на стыках ебздык, ебздык...

«Комитет советов при участии совета комитетов, рассмотрев вопрос об улучшении деятельности по всем основным направлениям, повышении качества и увеличении роста объемов, признали необходимым шире и глубже развернуть работу в указанной области. Необходимо улучшить деятельность по всем основным направлениям, повысить качество, увеличить рост объемов. Это позволит обеспечить все то, что надо обеспечить».

Слышите, слышите ультразвук? Это припев «Сообщения на первую полосу»... Молитва, мантра, трансценденталия... Аум.

... как бы отдельно от листа, этого белого экрана, где разыгрывался бюрократический театр тупого канцелярита, театр теней оживших волосков проволочных Его бровей, нависающих козырьком солнцезащитным...

Хочется жить. Хочется сочинять стихи... Хочется бегать на огоньки...

Есть в славянском фольклоре легенда о таких блуждающих огоньках. Человек, рассчитывающий найти по ним кров и тепло, обречен на безумие и смерть, ибо огоньки эти — не свет в окне далекого жилья... По мере приближения к ним огоньки удаляются от путника, гаснут и вспыхивают уже в другом месте, но по-прежнему в недосягаемости...

Негерои Томашпольского — «деловые люди» на наш особый, естественно, советский, лад, дело которых — идти, идти сквозь грозы и молнии... куда? — да вперед, конечно, в светлое будущее — за огоньками... «Чтобы завтра все было так же, как вчера, чтобы ничего не менялось. Вообще — ничего...»

Вот вам и источник уверенности в завтрашнем дне... И это отнюдь не безделье! Пахота, рытье в поте лица той ямы, в которую ежедневно сваливаются не только они.

Любопытный все же вопрос — как жить, что делать здесь? «Измени свое мнение о тех вещах, которые тебя огорчают, и ты будешь в полной безопасности от них», — учит нас... нет, не дилектор ГКБ — Марк Аврелий... Изменить — трудно, ибо надо чего-то менять, а вот привыкнуть...

«Они привыкли ко всему: к его вечно печальному облику, к молниеносной карательной реакции на любую инициативу, к уникальности его кадровой политики, когда, назначив мышью на должность слона, он фантастическим образом убеждает себя, что у серой идиотки отрос хобот. Они уже не пытаются ему возражать, потому что он всегда прав. Он знает все лучше всех. Он видит дальше и глубже, это задано заранее — и к этому они тоже привыкли».

Текст работает тогда, когда за строкой чужих слов читатель находит собственные мысли, созвучный с ними подтекст. Литература — это всегда письмо в бутылке. Попадет ли к адресату? Вовремя ли? Бог весть... Быть может, кому-то покажется, что книга в чем-то устарела... В том не ее вина... Но вот взгляните на портретики в багетовых рамках — неужто устарели?

«Контору создал отставной заслуженный человек Шурале Лукич Альманшер. Он был велик ростом, тонок голосом и крайне деятелен. «Всех уволю!» — кричал он изредка в своем кабинетике два на три.

Шурале Лукич слыл большим реформатором. Он менял ежеквартально структуру. Он соединил плановый отдел с бухгалтерией и мужской туалет с женским».

«Номенклатурный работник Храбрюк был молодым и дзенезья осторожным человеком. Он приблизил к себе некоего П. П., назначив его контролером и постоянно прислуши-

вая к зловещему вещанию оного: «Вот к нам придут и проверят...» «Клавдия Федоровна Гладкая была замечательна тем, что ходила на тринадцатом месяце беременности, но не брала декретный отпуск».

О дым, дым отечества дилектора Товарища, дым его капищ и кумирен, дым сжигаемых в центре Москвы книг, дел, допросов, доносов... Маслянистый, прокоптивший насквозь ни в чем не повинное небо наше...

Вслушаемся в слова «начальник»... «директор»... и т. д. Сколько в них все же от школьного бога с розгой, от строгого, но справедливого идола, вырубленного из полена давно модернизированным в куклу папой Карло!..

Кстати, о фетишах. В древности, например, их значение имели не окружающие человека предметы, звери и растения, но и сам человек и даже части его тела. У Гомера, например, диафрагма мыслится как субъект, как сознающее себя «я»... Герои Томашпольского живут в мире фетишей и являются их добровольно-в-обязательном-порядке жрецами... Номенклатура, ГКБ, зав. отделом № 6... Дажьбог, Велес, Перун... Соцреализм. Да-да, это те образы, Оттуда — усыпан-ные фурункулами мышц «Рабочие», чудесная пневматика молочных желез «Колхозниц»... Все эти монстры с картин герасимовых, из книг бабаевских и т. д. т. д. т. д. должны были и нравились нам (а если не это, то что?!) по тем же, в сущности, причинам, что и фаллические статуи полуобезьян... Отсюда — вождь (Дилектор) — всегда

Самец (даже если он — женщина — сравните: «гозариц»).

И в заключение — несколько замечаний о сатире вообще, ибо у нее-то будущее как раз есть...

Не уподобляемся ли мы порой майору Ковалеву, полагавшему, «что в театральных пьесах можно пропустить то, что относится к обер-офицерам, но на штаб-офицеров никак не должно нападать»? Нет, это не о книге Томашпольского — первой и достойной книге этого автора... Так, на будущее, для профилактики.

В начале своего опуса я сравнил Томашпольского с фокусником... В искусстве фокусника есть нечто уни-зительное, нечто от искусства официан-та... Фокусы — та грань, за которой кончается искусство и начинается сер-вис. Журналистика — даже лучшая, не-много фокусничество. Это тоже на будущее... Но вот же сказал мне как-то один хороший журналист: «Не стоит беспокоиться о яйценоскости коров». Может, действительно, не стоит?

Томашпольский называет свои произ-ведения «сценами» и даже «очерками», и это лучше, чем если бы он назвал их, например, «рассказами». Не будем гадать, как будет развиваться его творчество. Справедливо все же ожи-дать, что следующая книга будет либо более «литературной», либо «публици-стической» — с конкретными именами и фактами.

У Вадима Томашпольского есть все данные как для первого, так и для второго пути.

## ВЗГЛЯД ИЗДАЛЕКА

И вновь западные слависты опередили нас, сделав то, что здесь совсем не затронуто, хотя и имеет к нам самое непосредственное отношение. Таким очередным укором является книга Темиры Пахмус *Russian Literature in the Baltic between the World Wars* (Русская литература в Прибалтике в период между мировыми войнами\*).

В то время как в Прибалтике все, что напечатано в межвоенный период, было законопачено в спецфонды и рассуждать об этой материи было запрещено, в Америке кто-то перелистывал наши старые газеты и журналы, разыскивал уцелевших и постаревших рижан и обрабатывал эту информацию.

Читая книгу, все время восклицаешь про себя: «Да что же это такое! Это же мы, мы должны были написать! Это же наше печатное слово, наша судьба, наша боль, наша трагедия, наша культура!»

Ну что ж, не сделали, так будем хотя бы благодарны тому, кто сделал, и подвинем себя на то, чтобы сделать лучше.

Книга Т. Пахмус делится на обобщенный обзор русской культурной жизни в Эстонии, Финляндии, Латвии и Литве и на монографические заметки об отдельных авторах, снабженные образцами их творчества в переводе на английский язык.

Обзор не сводится к оперированию только именами литераторов и изданиями. По сути дела, здесь рисуется картина культурного самостояния рус-

ского населения в целом. Так мы узнаем и о русских театральных труппах, и о художниках, и о меценатах, и о различных профессиональных и культурных обществах.

Ограничимся рассмотрением того, как освещена русская литература в Латвии.

Картина в первом приближении нарисована убедительно. Затронуты основные, узловые ситуации и названы нужные имена.

Самое ценное в книге — для нас! — информация, которую невозможно было получить здесь: каковы судьбы тех, кто покинул Латвию. Отсюда нам становятся известны продолжения и завершения жизненного пути таких здешних издателей и литераторов, как Я. Брамс, И. Чиннов, А. Перфильев, И. Сабурова, В. Синайский и др.

Но, в свою очередь, автору оказались неведомы судьбы оставшихся здесь. Не случайно так скудны сведения о В. Третьякове, Льве Максиме, М. Цвике. Иногда писатель выглядит сплошным белым пятном. Взять хотя бы Андрея Задонского, о жизни которого не сказано ни слова, — для автора он просто загадочная фигура. (А. Задонский жил в Кулдиге, в 1939 году выехал в Германию, где и умер в 1941 году.) Не совсем ясно, почему С. Р. Минцлов отнесен к Литве, тогда как он жил в Риге, здесь и выпускал свои книги, здесь умер и здесь похоронен.

Но если наложить изображенную «с птичьего полета» картину на действительное положение вещей, то видишь, насколько описание это еще конспективно, пунктирно, насколько

\* Columbus, Ohio, 1988, 447 pp.

RUSSIAN LITERATURE  
IN THE BALTIC  
BETWEEN  
THE WORLD WARS



Temira Pachmuss

Slavica Publishers, Inc.

оно клочковатое, насколько зияет лакунами.

Причина в том, что Т. Пахмус включает в круг рассматриваемых писателей преимущественно тех, кто выпустил отдельные книги, или «чистых» беллетристов. Между тем как в русской литературной жизни Латвии часто куда больший удельный вес имели журналисты, профессора и приват-доценты, мемуаристы из бывалых или просто «бывших» людей.

Поэтому никак нельзя обойтись без таких людей с академическими званиями, как К. И. Арабажин, М. Д. Вайнтроб, А. В. Вейдеман, М. Я. Лазерсон, знакомящих широкого читателя с азами философии, этики и эстетики; никак нельзя не остановиться подробнее на таких журналистах, как Н. А. Белоцветов, Н. Г. Бережанский, М. И. Ганфман, С. А. Коренев, Б. С. Оречкин, Ф. С. Павлов, Б. И. Харитон и Б. Н. Шалфеев, потому что они за долгие годы сотрудничества в рижских газетах и журналах оставили массивный слой материалов мемуарного, краеведческого, культурологического значения; никак нельзя не учитывать литературную деятельность местных русских учителей, среди которых были и краеведы (Ю. Д. Новоселов), и романисты (Н. Р. Роминский-Донец), и поэты

(А. И. Формаков), и фольклористы (И. Д. Фридрих).

Книга может вызывать много претензий и нареканий прежде всего фактографического характера (об этом дальше), но это не столько вина, сколько беда автора: трудно было дотянуться на расстоянии до почвы и факта.

Но что можно несомненно поставить в вину, так это отсутствие достаточно четкого плана и системы в обзоре. Факты, имена, названия и даты не следуют в логической или хронологической последовательности, а выкладываются в пеструю мозаику, как будто все они были выписаны на карточки, которые выбрасывались по мере того, как подвертывались под руку. Отсюда случайности и необязательности.

Скажем, идет речь об Эстонии и приводится перечень русских писателей, которые бывали в ней:

Антон Дельвинг, Валерий Брюсов, Иннокентий Анненский, Александр Блок, Борис Пильняк, Константин Случевский, Алексей Ремизов.

Дело даже не в том, что Брюсов следует почему-то за Дельвингом, а Случевский за Пильняком, а в том, что сам факт случайного пребывания в Эстонии ничего не дал ни Эстонии, ни писателю. Как ничего не оставило Риге пребывание там, скажем, Крылова, так никоим образом не сказалось это и на его творчестве. В Юрмале от Гончарова осталась только улица его имени. Но какое это имеет отношение непосредственно к литературе?

Иногда удивляет хронология. Так о Н. Г. Бережанском говорится, что он вел газету «Слово» до конца ее существования, потом вернулся (?) в Берлин в 1929 г. В Берлине выпустил три литературных альманаха: «Русская деревня» (1924), «Русская женщина» (1924) и «Москва» (1925). Почему после чего-то следует то, что было задолго до этого?

На самом деле Бережанский остался в Риге и сотрудничал под псевдонимами в газете «Наш голос» и в журнале «Для вас». И умер в Латвии, а не в Берлине.

Или другой хронологический алогизм:

«Сегодня» выпустила два литературных приложения — журнал «Для всех» (1942—1944), издаваемый «Русским вестником», и «Для вас».



Между тем концерн «Сегодня» прекратил свое существование в 1940 году. Владельцы его Брамс и Поляк успели уехать за границу, остальные сотрудники были арестованы и сгинули. Но даже останься они в живых, они не могли бы выпускать что-то в 1942—1944 годах, так как большинство их были евреи. К «Сегодня» «Русский вестник» имел только то отношение, что «печатался в той же типографии, которая осталась после «Сегодня», поскольку это была издаваемая немецкими оккупационными властями газета. Журнал «Для всех» существовал помимо нее, уже на излете оккупационного режима.

Что же касается журнала «Для вас», то он существовал с декабря 1933 года по 1940 год независимо от газеты «Сегодня», правда печатался в той же типографии, что и «Сегодня». Кроме того, один из создателей его, Рубинштейн, работал выпускающим в «Сегодня», а другой, Перов, вел в газете отдел русской жизни. Но в целом журнал был самостоятельным и финансово независимым изданием.

Рубинштейн был убит латышскими националистами в первый же день вступления в Ригу немецких войск, а Перов еще раньше поехал по направлению к Колыме.

Так что связывать в один узел все эти издания никак нельзя.

Зато почему-то разбросаны по разным страницам все издания единого концерна «Саламандра» — газета «Слово», журнал «Новая неделя» и «Юный читатель», все они были под братьями Белоцветовыми и членами их семей. А при чтении возникает представление, что все это самостоятельные издания.

Как уже говорилось, вполне понятны лакуны и недостоверные сведения, которые невозможно было проверить на расстоянии.

В книге говорится, что неизвестна судьба Г. Лугина (Левина). Известно, что он был арестован и умер в тюрьме. (См. нашу заметку о Герасиме Лугине — «Даугава», 1988, № 11).

Как уже говорилось выше, отсутствием сведений страдает и биография В. Третьякова. А между тем известно, что после войны он некоторое время (до конца 40-х годов) работал в Латвийском университете. Потом был уволен и прозябал,

перебиваясь случайными заработками. Скончался в Риге в 1961 году.

Этого в США можно не знать, но если уж идет речь об издаваемом Третьяковым журнале «Основы», то можно было все-таки по выходным данным данным установить, что журнал издавался не в России, а в Риге, в 1934 году.

Алексей Юпатов не живет все еще в Москве, занимаясь созданием экслибрисов для вождей, а умер в Риге еще в 1975 году.

Проживавший в Эстонии Владимир Гущик не был казнен, а умер в 1947 году в заключении на станции Сухово-Безводная Горьковской железной дороги.

Георгий Матвеев не «умер молодым». Скончался он 11.IX.1966 г. Следователю, прожил все-таки 56 лет.

Абсолютно неверно утверждение, что настоящая фамилия журналиста Льва Максима была Михайлов. В самом деле фамилия его была — Асс.

С тех пор, как С. П. Постников, приняв на веру жульническое объявление Л. Короля-Пурашевича (почему-то у Т. Пахмус он пишется Перушевич) об издании в Режице журнала «Уголок литературы и жизни» (1920—1922), рассчитанное только на то, чтобы выманить деньги у легковых подписчиков, включил это несуществующее издание в свой библиографический труд «Русская зарубежная книга» (Прага, 1924), — сведения это механически перепечатывается вот уже ряд лет. И никто не удосужился попытаться найти хотя бы экземпляр журнала. Вот и Пахмус верит в это мифическое издание. Насколько можно судить по ряду данных, в 1920 году Король-Пурашевича вообще в Латвии еще не было. Появился он в Режице в 1921 году и тут же перебрался в Ригу. (Между прочим, еще одна ошибка: книга «Братство черных сов» была выпущена Королем-Пурашевичем в Петрограде в 1917 году, а не в Риге в 1926-м.)

Не мог Н. Н. Белоцветов сотрудничать в газете «Русский мир», поскольку такой газеты в Риге не было.

Не выпускал его отец Н. А. Белоцветов журнал «Родина». Под таким названием вышел в 1926 году только сборник для детей, составленный М. Бурнашевым из образцов русской классической словесности, и еще была

газета, которая печаталась в 1933 году и скончалась на 5-м номере.

Не было в Риге издательства «Новости иллюстрированной (?) литературы», принадлежащего братьям Расиным. Издательство Расиня называлось просто «Литература».

Не было у Ю. Галича принадлежавшей его перу трилогии «Брачный остров», а был лишь сделанный им перевод одноименного романа Фр. Бутэ (1926).

Как видим, принцип *de visu* не соблюдался. Все эти сведения доверчиво списаны из других источников, взяты со слов, искажены и не проверены.

В журнале «Перезвоны» печатались довольно часто стихи не только поэтов, живущих за пределами Латвии, но и покойных.

Поэтому ошибочно на основании одной публикации включать в число поэтов, живущих в Латвии, Виктора Гофмана, который покончил самоубийством в Париже еще в 1911 году.

Неправомерно попал сюда и князь Ф. Н. Касаткин-Ростовский, не имевший к Риге никакого отношения.

Нельзя утверждать, что Георгий Иванов жил в Латвии. Он всего лишь несколько раз навещал тестя, отца Ирины Одоевцевой.

О Леониде Зурове говорится, что он был то секретарем журнала «Перезвоны», то газеты «Сегодня». Последнее начисто исключено

«Библиотека Ивановой была полностью уничтожена». В действительности же Татьяна Александровна Иванова (1898—1985) сохранила ядро библиотеки и до конца дней снабжала книгами тесный круг доверенных читателей.

Беглое и невнимательное прочтение имен и названий приводит автора к неизбежным ошибкам. Так, русское певческое общество «Баян» (вариант имени легендарного певца, упоминавшегося в «Слове о полку Игореве» — Бояна) воспринимается как название музыкального инструмента и переводится: *The Accordion*.

Издателем журнала «Родная старина» объявляется Анастасий Смейльс,

в то время как им была Анастасия Родионова Смейльс (Смайлис).

Явно в вину автору можно поставить то, что она довольно небрежно относилась к сверке названий. Об этом говорит хотя бы то, что свои собственные переводы названий она дает произвольно, каждый раз по-иному. Так журнал «Наш огонек» появляется то в виде *Our Small Light*, то в виде *Our Little Light*, то *Our Small Flame*, а журнал «Мансарда» иногда предстает как *The Attic*, а иногда как *The Yarrow*.

Есть некоторая закономерность в том, что авторы исследований при погружении в материал начинают преувеличивать роль и ценность объектов исследования, отдельных фигур или явлений. Начинают смотреть как бы через увеличительное стекло — и подлинный масштаб утрачивается. Не все литераторы, представленные в этой книге, действительно создали что-то значительное. Некоторые произведения, отрывки из которых приводятся, или отдельные стихотворения, скажем прямо, слабоваты и в оригинале. А в переводе на английский они теряют даже ту спасительную непосредственность и опору на живость родного языка, которая как-то дает им возможность держаться на плаву.

Но было бы в высшей степени неблагородно свести всю рецензию к перечню подмеченных оплошностей и несоответствий. Перечень этот никак не перечеркивает книгу, за ним стоит лишь желание откорректировать текст «с опечатками». Возможно ведь и второе издание.

С другой стороны, хотелось бы верить, что рецензия эта в какой-то мере подтолкнет нашу литературоведческую и историко-литературную мысль в сторону освещения этого «белого пятна». Думается, что на первом этапе целесообразно выявить, инвентаризировать и обозреть материал по каждой прибалтийской республике отдельно и уж только потом, со временем, свести его воедино.

Как бы то ни было, теперь мы видим, что создать такой труд возможно.



## КАРТОТЕКА ЮРАСОВА

1. ААБ Ангелина Андреевна (1910 — год смерти неизвестен)  
Работала в РСФСР. Незаконно репрессирована в 1946 году, осуждена на 10 лет ИТЛ. Реабилитирована.
2. АБЕЛЬТИН Иван Карлович (1910—1938)  
Техник-животновод райзо Красноярской области.
3. АБЕЛЬТИН Отто Петрович (1886—1938)  
Ветсанитар колхоза Красноярского края.
4. АБЕЛЬТИН Павел Карлович (1908—1938)  
Брат Абельтина И. К. Работал в Борисовском сельсовете Красноярского края.
5. АБОЛИНЬШ Бирута Екабовна  
Дочь Е. И. Аболиньша. В 1949 году с родителями выслана из Латвийской ССР на спецпоселение в Омскую область. Реабилитирована в 1956 году.
6. АБОЛИНЬШ Виллис Екабович  
Сын Аболиньша Е. И. В 1949 году с родителями выслан на спецпоселение из Латвийской ССР в Омскую область. Реабилитирован в 1956 году.
7. АБОЛИНЬШ Екаб Индрикович (1904 — год смерти неизвестен)  
Крестьянин. Сын Аболиньша И. С. В 1949 году выслан из Латвийской ССР на спецпоселение в Омскую область. Реабилитирован в 1956 году.
8. АБОЛИНЬШ Индрик Екабович (1875 — год смерти неизвестен)  
Крестьянин. Отец Аболиньша Е. И. В 1949 году выслан из Латвийской ССР на спецпоселение в Омскую область. Реабилитирован в 1956 году.
9. АБОЛИНЬШ Кристина Кристаловна (1873 — год смерти неизвестен)  
Крестьянка. Жена Аболиньша И. Е. В 1949 году выслана из Латвийской ССР на спецпоселение в Омскую область. Реабилитирована в 1956 году.
10. АБОЛИНЬШ Лидия Яновна (1916 — год смерти неизвестен)  
Крестьянка. Жена Аболиньша Е. И. В 1949 году была с семьей выслана из Латвийской ССР в Омскую область на спецпоселение. Реабилитирована в 1956 году.
11. АБОЛИНЬШ Ян Индрикович (1900—1946)  
Сын Аболиньша И. Е. Незаконно репрессирован, осужден на 10 лет ИТЛ. Реабилитирован посмертно.
12. АБОЛИН Владимир Яковлевич (1899—1978) [Рига]  
Член КПСС с 1917 года. Окончил Военную академию имени Фрунзе (1925 г.). Ученый-востоковед, доктор экономических наук (1935 г.). Ге-

Продолжение. Начало см. «Даугава», № 4.

- неральный консул в Китае в 1927—1928 гг. Сотрудник ТАСС по Китаю (1935—1937 гг.). Репрессирован. Реабилитирован в 1946 году.
13. **АВОТИН Роман Романович** (1877—1938)  
Работал в Камен-Горнов. совхозе Красноярской области.
  14. **АНДЕРСОН Эдуард** (1886—1938)  
Член КПСС с 1905 года. Участник революционного движения в Латвии. Был на дипломатической работе за рубежом (1925—1933 гг.). С 1933 года жил в Москве. Незаконно репрессирован. Посмертно реабилитирован.
  15. **АПЛУЦАН Казимир Францевич** (1905—1938)  
Работал в Борисовском промколхозе Красноярской области.
  16. **АПСЕ Мартын Янович** (1893—1937)  
Член КПСС с 1912 года. Член Всесоюзного общества старых большевиков. Работал в Политуправлении РККА, дивизионный комиссар (1935 г.), корпусной комиссар (1936 г.). Работал в Ленинграде. Незаконно репрессирован в 1937 году. Посмертно реабилитирован.
  17. **АПСИТ Гуго Карлович** (1893—1938)  
Брат Апсита Э. К. Животновод Борисовского колхоза Красноярской области.
  18. **АПСИТ Эдгар Карлович** (1898—1938)  
Брат Апсита Г. К. Колхозник Борисовского колхоза Красноярской области.
  19. **АПСИТ Ян Петрович** (1880—1938)  
Член КПСС с 1904 года. Член Всесоюзного общества старых большевиков (1933 г.). Пал жертвой репрессий 1937 года. Посмертно реабилитирован.
  20. **АРРО Зельма Самуиловна** (1897—1938)  
Член КПСС. Историк. Репрессирована в 1937 году.
  21. **БАЛТАЙС Антон Осипович** (1902—1938)  
Жил в деревне Борисовке Красноярского края.
  22. **БЕРЗИНЬШ Яков Адамович** (1872—1938)  
Пчеловод Борисовского совхоза Красноярского края.
  23. **ВАККЕР Адольф Карлович** (1902—1938 «ВМН»)  
Заместитель начальника отдела боевой подготовки штаба Сибирского военного округа [г. Новосибирск]. Арестован 20 декабря 1937 года.
  24. **ВИЛЬДАВ Андрей Борисович** (1890—1938)  
Работал в Балайском леспромхозе Красноярского края.
  25. **ГОЛЬБЕРГ Ева Рейновна** (1874—1938)  
Член КПСС с 1928 года. Работала в Борисовском колхозе Красноярского края.
  26. **ГРИНБЕРГ Лабренц** (год рождения неизвестен — 1937)  
Учитель.
  27. **ДЫНКО Иван Андреевич** (1888—1938)  
Бондарь Борисовского маслозавода Красноярского края.
  28. **ДЭГЛИС Иван Адамович** (1909—1938)  
Работал в Борисовском леспромхозе Красноярского края.
  29. **ЗИРНИТ Лиза [Елизавета] Юрьевна** (1863—1938)  
Член КПСС с 1905 года. Участник революции 1905—1907 гг. в Латвии. С 1922 года жила в Москве, с 1926 года — персональный пенсионер. Незаконно репрессирована в 1937 году. Посмертно реабилитирована.
  30. **ЗИРНИТ Ян** (1884—1938)  
Член КПСС с 1903 года. Участник революции 1905—1907 гг. в Латвии. Работал в Москве. Незаконно репрессирован в 1937 году. Реабилитирован посмертно.
  31. **ИЗАК Ян** (1897—1937)  
Член КПСС с 1912 года. Участник революционного движения в Латвии. Жил и работал в СССР. Незаконно репрессирован. Посмертно реабилитирован.
  32. **ИОНАС Роберт Петрович** (1891—1937)

- Член КПСС с 1908 года. Член Всесоюзного общества старых большевиков (1933 г.). Жил в Москве. Незаконно репрессирован в 1937 году. Посмертно реабилитирован.
33. ИОНАС Я. И. [год рождения неизвестен — 1937]  
Член КПСС с 1917 года. Делегат XVII съезда ВКП(б). Жил в Киеве. Незаконно репрессирован в 1937 году. Посмертно реабилитирован.
34. КАКТЫНЬ Ян Янович (1881—1938)  
Член КПСС с 1903 года. Член Всесоюзного общества старых большевиков (1933 г.). Жил в Бердянске, Ленинграде. Незаконно репрессирован в 1937 году. Посмертно реабилитирован.
35. КАЛНИН Карл Петрович (1884—1938)  
Член КПСС с 1906 года. Член Всесоюзного общества старых большевиков (1933 г.). Жил в Москве. Незаконно репрессирован в 1937 году. Посмертно реабилитирован.
36. КАЛНИН Петр Эрнестович (1878 — год смерти неизвестен)  
Горный инженер. Работал главным инженером рудоправления. Арестован по «шахтинскому делу» в 1928 году. Осужден на 3 года ИТЛ как «вредитель».
37. КАЛНИН Теодор Петрович (1871—1938).  
Член КПСС с 1900 года. Член Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев (1934 г.). Жил в Ленинграде. Необоснованно репрессирован в 1937 году. Посмертно реабилитирован.
38. КАЛНИНА Марта (1892—1938)  
Латышская актриса. Работала в театре «Скатуве» в Москве в 1937 году. Репрессирована по ложным обвинениям. Посмертно реабилитирована.
39. КАЛНЫНЬ Ян Андреевич [год рождения неизвестен — 1937]
40. КАЛЬВЕНС Юрий Юрьевич [год рождения неизвестен — расстрелян 5 декабря 1937 года]  
Жил в Москве. Незаконно репрессирован.
41. КЕЙЕР Эдуард Фрицевич (1887—1938)  
Счетовод Борисовского сельсовета Красноярского края.
42. КИЙН Сергей Яковлевич (1891—1938)  
Заведующий фельдшерским пунктом с. Борисовка Красноярского края.
43. КИСИС Эрнест Яковлевич (1901—1938)  
Механик колхоза Красноярского края.
44. КЛЯВИН Яков Петрович (1867—1938)  
Работал в Борисовском колхозе Красноярского края.
45. КРЕБС Анна Германовна (1877—1941)  
Член КПСС с 1907 года. Участник революции 1905—1907 гг. в Латвии. Член Всесоюзного общества старых большевиков (1933 г.). В 30-е годы жила в Москве. Незаконно репрессирована в 1937 году. Посмертно реабилитирована.
46. КРЕВИН Карл Петрович (1887—1937)  
Член КПСС с 1906 года. Член Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев (1930 г.). Незаконно репрессирован в 1937 году. Посмертно реабилитирован.
47. КРЕВИН-БРОКМАН Давид Давидович (1883—1937)  
Член КПСС с 1904 года.  
Член Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев (1930 г.). Незаконно репрессирован в 1937 году. Посмертно реабилитирован.
48. КРЕТУЛЬ (КРЕТУЛИС) Карл Янович (1889—1937)  
Член КПСС с 1905 года. Участник революции 1905 года в Латвии. Работал в РСФСР. Незаконно репрессирован в 1937 году. Посмертно реабилитирован.
49. КРИЛЛ Ян Яковлевич (1885—1937)  
Член КПСС с 1905 года. Участник революционного движения в Латвии.

- Член Всесоюзного общества старых большевиков (1934 г.). Работал в НКВД СССР.  
Незаконно репрессирован в 1937 году. Посмертно реабилитирован.
50. КРИСТИН Мартын Мартынович (1882—1937)  
Работал в совхозе в Красноярском крае.
  51. КРОДЕР Ян Петрович (1860—1938)  
Член КПСС с 1905 года. Член Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев до 1928 года. На персональной пенсии с 1925 года. Незаконно репрессирован в 1937 году. Посмертно реабилитирован.
  52. КРОНБЕРГ Рихард Карлович (1889—1937)  
Член КПСС с 1906 года. Незаконно репрессирован в 1937 году. Посмертно реабилитирован.
  53. КРОНБЕРГ Ян Антонович (1877—1937)  
Член КПСС с 1897 года. Участник революционного движения. Незаконно репрессирован в 1937 году. Посмертно реабилитирован.
  54. КРУЗЕ Ян Янович (1891—1943)  
Пал жертвой репрессий. Посмертно реабилитирован.
  55. КРУЗИНЬШ Милда Петровна (1920 — год смерти неизвестен)  
Крестьянка-единоличница Вентспилского района Латвийской ССР. В 1946 году репрессирована, осуждена на 10 лет ИТЛ. Реабилитирована.
  56. КРУЗС Карл Янович (год рождения неизвестен — 1937)  
Член КПСС с 1912 года. Член Всесоюзного общества старых большевиков (1933). Жил в Москве. Незаконно репрессирован в 1937 году. Посмертно реабилитирован.
  57. КРУМГОЛЬЦ Арвид (год рождения неизвестен — 1937)  
Член КПСС. Работал на Камчатке.
  58. КРУМИН Гаральд Иванович (1894—1943)  
Член КПСС с 1909 года. Член ЦКК ВКП(б) (1930—1934 гг.). Публицист, экономист. 1928—1930 гг. — редактор газеты «Правда». Незаконно репрессирован в 1937 году. Посмертно реабилитирован.
  59. КРУМИН Карп Петрович (1888—1937)  
Член КПСС с 1905 года. Участник революционного движения в России. Незаконно репрессирован в 1937 году. Посмертно реабилитирован.
  60. КРУМИН Ян Янович (1889—1937)  
Член КПСС с 1904 года. Член Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев (1935 г.). Жил в Москве. Незаконно репрессирован. Посмертно реабилитирован.
  61. КРУМОВИЦ Рудольф Янович (1889—1937)  
Член КПСС с 1906 года. Член Всесоюзного общества старых большевиков (1933 г.). Жил и работал в Москве. Незаконно репрессирован в 1937 году. Посмертно реабилитирован.
  62. КРУСТИНЬСОН Элизабета Мартыновна (1890 — год смерти неизвестен)  
Член КПСС с 1910 года.  
Участница Октябрьской революции в Москве. Жена Ленцмана Я. (1881 г. рожд.). Работала в партийных органах Москвы, Ленинграда. Необоснованно репрессирована в 1937 году. Реабилитирована. Сестра Крустиньсон Марты (1895 г. рожд.) и Эмили (1890 г. рожд.).
  63. КУРТМАН Ян  
Незаконно репрессирован в 1937 году.
  64. ЛЕЙКО Марья (1887—1937)  
Латышская актриса. С 1923 по 1936 г. работала в латышском театре «Скатуве» в Москве. Незаконно репрессирована. Посмертно реабилитирована.
  65. ЛЕЙМАН Дора Петровна (1880—1937)  
Член КПСС с 1905 года. Член Всесоюзного общества старых большевиков (1933 г.). С 1920 года жила и работала в Москве. Незаконно репрессирована. Посмертно реабилитирована.

66. ЛЕЙНАРТ Роберт Иванович (1926 — год смерти неизвестен)  
Младший сержант. В РККА — с 1945 года. В 1949 году репрессирован, осужден на 10 лет ИТЛ. Реабилитирован.
67. ЛЕМКИН Рудольф Янович (1883—1938)  
Член КПСС с 1904 года. Участник революции 1905—1907 гг. в Латвии. В 1932—1934 гг. — руководитель «Леспродукта» (Ленинград). Пал жертвой репрессий 1937 года. Посмертно реабилитирован.
68. ЛИДЭ И. М. (год рождения неизвестен — 1937)  
Член КПСС с 1918 года. Делегат XVI съезда ВКП (б). Пал жертвой репрессий 1937 года. Посмертно реабилитирован.
69. ЛИБВИН Август Андреевич (1887—1937).  
Член КПСС. В революционном движении с 1905 года. Член Все-союзного общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев. Пал жертвой репрессий 1937 года. Посмертно реабилитирован.
70. ЛИЕПИН Рейнгольд Рейнович  
Участник гражданской войны. Педагог. Работал в вузах. Незаконно репрессирован в 1937 году. Реабилитирован.
71. ЛИЕПИН Ян (1894—1937)  
Член КПСС с 1917 года. Работал на фабрике «Парижская коммуна» в Москве. Незаконно репрессирован в 1937 году. Посмертно реабилитирован.
72. ЛИЕПИНЛАУКС Эдуард Давыдович (1888—1937)  
Член КПСС с 1905 года. Участник революции в Латвии 1905—1907 гг. В 30-е годы работал в Ленинграде. Пал жертвой репрессий 1937 года. Посмертно реабилитирован.
73. ЛИЕПИНЬШ Ян Петрович (1894—1942)  
Член КПСС. Участник гражданской и Отечественной войн. Генерал-майор. Командовал 181-й стрелковой дивизией. В 1942 году репрессирован и расстрелян. Посмертно реабилитирован.
74. ЛИЗДИН Роберт Мартынович (год рождения неизвестен — 1937)  
Член КПСС. Участник гражданской войны. Полковник (1935). Пал жертвой репрессий 1937 года. Посмертно реабилитирован.
75. ЛИЗДИНЬ Григорий Яковлевич (1864—1937)  
Участник революционного движения с 1892 года. Член КПСС с 1903 года. Участник Октябрьской революции в Петрограде. Член троцкистской оппозиции, в 1927 году исключен из ВКП(б), восстановлен. Пал жертвой репрессий 1937 года. Посмертно реабилитирован.
76. ЛИЗИНСКИЙ Иван Осипович (1891—1938)  
Работал в Борисовском совхозе Красноярского края.
77. ЛИНДЕ А. Я. (год рождения неизвестен — 1937)  
Незаконно репрессирован в 1937 году. Посмертно реабилитирован.
78. Линде М. Г. (1896—1937)  
Член КПСС с 1912 года. Участник революционного движения. Пал жертвой репрессий 1937 года. Посмертно реабилитирован.
79. ЛИНДЕНБЕРГ Мартын Янович (1885—1937)  
Член КПСС с 1905 года. Член Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев (1934). Незаконно репрессирован в 1937 г. Посмертно реабилитирован.
80. ЛИНИХ Андрей Янович (1881—1938 «ВМН»)  
Скотник колхоза «Коммунар» Краснодарского края. В 1937 году арестован.
81. ЛИНИХ Альвина Ивановна (1895 — год смерти неизвестен)  
Беспартийная. Жена Линиха А. Я. Работала в совхозе с мужем. Арестована как ЧСИР («член семьи изменника Родины») в 1938 году.
82. ЛИФЛЯНД Иван Карлович (1906—1938)  
Брат Лифлянда К. К. Работал кузнецом в колхозе в Красноярском крае.
83. ЛОРЕНЦ Ян Оттович (1882—1937)  
Член КПСС с 1905 года.

- Член Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев (1934 г.). Жил и работал в Москве. Пап жертвой репрессий. Посмертно реабилитирован.
84. ЛУС Рихард Карлович [1891 — год смерти неизвестен]  
Главный инженер конторы комбината «Североникель». В 1940 году репрессирован, осужден на 15 лет ИТЛ. Реабилитирован.
  85. ЛУСИС Петр (1884—1937)  
Член КПСС с 1905 года. Участник революции 1905—1907 гг. в Латвии. В 30-е годы работал в Севастополе. Незаконно репрессирован в 1937 году. Посмертно реабилитирован.
  86. МЕДЕНЕК Арвид Иванович (1903—1938)  
Работал в колхозе Красноярского края.
  87. ПЕНЦЕЛЬ Карл Андреевич (1907—1938)  
Председатель сельпо в Красноярском крае.
  88. ПРЕДС Александр Иванович (1880—1938)  
Работал в промколхозе Красноярского края.
  89. ПУМПУР Отто Адамович (1876—1938)  
Работал в Борисовском колхозе Красноярского края.
  90. ПЭРЛЕ Анна (1894—1937)  
Критик, литературовед.
  91. РУБЕН Ян Янович (1896 — год смерти неизвестен)  
Член КПСС с 1918 года. Участник гражданской войны. Служил в пограничных войсках РККА. Майор. В 1937 году репрессирован, осужден на 9 лет ИТЛ.
  92. РУЗДАН Петр [год рождения неизвестен — 1937 «ВМН»]  
Член КПСС. Начальник «Левихимстрой» (Свердловская область). Арестован 1 мая 1937 года.
  93. САЛЕНЕК Григорий Михайлович [год рождения неизвестен — 1938]  
Брат Саленка М. М. Рабочий на железной дороге в г. Новокузнецке. Арестован в 1938 году.
  94. САЛЕНЕК Мартын Михайлович [год рождения неизвестен — 1938]  
Рабочий на железной дороге в г. Новокузнецке.
  95. САЛЕНЕК Фриц Михайлович [1889 — 4 июня 1938 «ВМН»]  
Участник гражданской войны. Полковник РККА. Служил в штабе Сибирского военного округа в г. Новосибирске. Арестован 11 сентября 1937 года.
  96. САЛЕНИЕК Эдуард (1900—1977)  
Писатель, литературовед, член СП СССР с 1934 года. Репрессирован в 1937 году.
  97. СОКОЛ Эвалд (1904—1965)  
Писатель, член СП СССР. Репрессирован в 1937 г.
  98. СТРАУПЕНЕК Адольф Михайлович (1878—1937)  
Инженер завода «Каучук» (г. Москва). В 1930 году арестован по делу «Промпартии», умер.
  99. ФЕЛЬДМАН Анс (1896—11 сентября 1937 «ВМН»)  
Член КПСС. Участник революционного движения. Журналист.
  100. ФРЕЙБЕРГ Берта (1891 — год смерти неизвестен)  
Жена Бейки Я. С. (1898—1938). Арестована в 1938 году.
  101. ФРЕЙБЕРГ Паула (1889—1938)  
Член КПСС с 1904 года. Жена Бейки Д. С. Художник-гравер издательства. Арестована в Москве.
  102. ШКИЛИНГ Вольдемар Христианович [год рождения неизвестен — 1938]  
Рабочий на фабрике в г. Нальчике. Арестован 15 сентября 1937 г.
  103. ЭРГЛИС Эдгар [год рождения неизвестен — 1937]  
Писатель, журналист.
  104. ЯНСОН Август Мартынович (1902—1937)  
Член КПСС с 1921 года. Секретарь РК партии в Закавказье.

Продолжение следует



## ЗАМЕТКИ О НОВОМ ИСКУССТВЕ II.

### «ТРЕТЬЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ»

Журнал «Третья модернизация» (далее ТРМ) выходит в Риге примерно с середины 1987 года. За этот короткий срок журнал успел приобрести свой имидж в кругу неофициальной прессы и вполне может быть поставлен в один ряд с такими ветеранами самиздатской периодики, как ленинградские «Часы» и «Митин журнал». Местоположение в далеких остзейских губерниях, вдали от шума обеих столиц, от споров между концептуалистами и метареалистами, позволило журналу занять наиболее плодотворную на данном этапе развития русской культуры позицию разумного эклектизма в том, что касается больших и малых вкусов внутри той области современной русской культуры, которая условно именуется новой. Журнал достаточно доброжелательно и исследовательски заинтересованно относится ко всем направлениям, публикуя всех (кого хочет) и, что самое важное, эти публикации не ограничиваются треугольником Москва — Ленинград — Рига. На страницах ТРМ мы найдем произведения авторов из Смоленска, разговор с историком из Калининграда, выступающим под именем Сепаратиста, изложение программы социально-экономического движения младоуральцев, интервью с А. Солженицыным и В. Аксеновым.

Мы остановимся подробно на седьмом выпуске журнала, начавшем нерыночный путь к читателю где-то в ноябре 1988 года (тираж номера всего 60 экземпляров).

Не смею вам стихи Баркова  
 Благопристойно перевести  
 И даже имени такого  
 Не смею громко произнести!

*А. С. Пушкин*

В поэтическом разделе выпуска представлены стихи восьми поэтов: Глеба Цвеля, Тимура Кибирова (Москва), Владимира Линдермана (Рига), Янки Пидзиса (Рига), Виктора Кривулина (Ленинград), Владимира Кучерякина (Ленинград), Александра Горнона (тоже Ленинград), Александра Еременко (Москва).

Несомненно центром поэтического раздела, а пожалуй, и центром всего выпуска явилась поэма Тимура Кибирова, посвященная Льву Рубинштейну (о нем речь пойдет ниже). Поэма написана четырехстопным хореем рифмовки АБАБ, содержит порядка 400 строк и во многих отношениях представляет собой замечательное произведение. Злободневность, острый юмор, превосходный язык обеспечат ей успех у самого широкого читателя (буде такой случится), знатоки поэзии найдут здесь глубоко освоенную и оригинально переработанную интонационно-ритмическую струю в истории русской поэзии от начала XIX века.

Ключевое слово поэмы — энтропия — одно из наиболее нелюбимых понятий в культуре нашего столетия. Энтропия, по абсолютной величине равная шенновской информации, но по знаку противоположная ей, — это мера неопределенности системы. В соответствии со вторым началом термодинамики в замкнутых системах энтропия неуклонно возрастает. Обиходно-поэтические синонимы понятия энтропии — хаос, разложение основ, распад.



Обложка 7-го номера журнала «Третья модернизация»

Поскольку до недавнего времени наше общество вполне можно было рассматривать как замкнутую систему, то второе начало термодинамики вполне к нему применимо.

Поэма Кибирова написана в жанре сатирического дружеского послания, обращенного истоками к допушкинской поэзии, к Державину, к неофициальной литературе начала XIX века, прежде всего к сатирической поэме А. Ф. Воейкова «Дом сумасшедших». Однако чрезвычайно важную роль в ее поэтике играет также традиция своеобразного четырехстопнохоренческого «цикла» пушкинских мрачных стихов конца 1820, начала 1830 годов: «Дар напрасный, дар случайный...», «Мчатся тучи, выются тучи...», «Долго ль мне гулять на свете...», «Мне не спится, нет огня...». Через Тютчева эта традиция ведет к мандельштамовскому циклу «Стихов о русской поэзии» (с примыкающим к нему стихотворением «Дайте Тютчеву стрекбзу...»). Этот цикл построен в виде системы явных и скрытых реминисценций из истории русской поэзии (см. недавнее исследование Б. М. Гаспарова «Сон о русской поэзии» (Stanford Slavic Studies, V. 1, 1987)).

Так же строится и поэма Кибирова. Явные цитаты из русской поэзии (из

того же цикла Мандельштама) накладываются на сложные ассоциативные ходы, понятные, может быть, только узкому кругу читателей. Связь с циклом Мандельштама несомненна. Ср:

Капли прыгают галопом,  
Скачут градины гурьбой  
С рабским потом, конским топом  
И древесною молвой.

У Кибирова:

Ох, уж мне литература,  
энтропия сучья вошь,  
волчье имя, рыба шкура,  
Деревянный макинтош!

Поэтика разноступенных ассоциаций, ведущая начало от «Евгения Онегина», вряд ли позволит отнести поэму Кибирова к ортодоксальному концептуализму; это произведение слишком политонально по стилистике. Хотя в целом поэзия Кибирова принадлежит к концептуализму, если его понимать достаточно широко.

Концептуализм как направление, строящее свою поэтику на вторичном обыгрывании устоявшихся понятий (концептов), в обычном случае предполагает примитивность этих концептов. Возможно, однако, вторичное осмысление изначально сложных контекстов как опошленных и поэтому стертых, упрощенных. Таким вторичным концептом, например, может быть, как это ни странно, поэтика Мандельштама, на строке которого («И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьей гаме...») строится стихотворение Вл. Линдермана, также помещенное в ТРМ-7:

И Сталин на стене, и Троцкий на  
диване,  
и коминтерна крик, и пятилетки меч.  
История в ушах, бандит на  
шарлатане,  
и седоки в седле, и льется речи  
речь.

Здесь пародируется сам эффект затемненности, непонятности мандельштамовской поэтики и непонятности ее как элемента советской истории. Идея парадоксальная, но заслуживающая внимания. Абсурдная, лишенная денотатов, лгущая «поэтика» советской политической истории и обладающая теми же качествами поэзия Мандельштама ставятся, вернее возвращаются, в

один ряд, так как изначально исторически они в одном временном ряду и стояли.

На вечере, проведенном «Третьей модернизацией» 23 декабря в Риге на филологическом факультете ЛГУ, Кибиров прочитал еще несколько своих произведений, в том числе поэму «Когда был Ленин маленьким», строящуюся на сопоставлении развернутых эпиграфов из сусальной книжки М. И. Ульяновой 1947 года издания и приподнято классических пятистопных ямбов (если не ошибаюсь, даже с цезурой на второй стопе) основного текста, представляющих собой медитации по поводу очередного эпизода из жизни маленького Ильича.

В газете «Советская молодежь» за 3.01.88 г. появилась статья Л. Героняна, брызжащая праведным возмущением против вечера ТРМ, о котором идет речь. Если бы мы не жили в постэзастойный период, то эту статью можно было принять за мистификацию. Автор, новоявленный Козьма Прутков, ругает устроителей вечера за неуважение к святым отцам советской истории, за пьянство (на столе, имитировавшем президиум, действительно стояла бутылка водки и грузинского вина; на 60 человек явно маловато; мне, во всяком случае, не досталось), разаратную лексикку.

Статья Л. Героняна обнаруживает полную невежественность автора в эстетических вопросах (например, нельзя было не заметить, что бутылка была частью действующего реквизита, причем пародийного), и написана в доносительном тоне. Весьма странно, что «Советская молодежь» ее опубликовала.

На том же вечере был продемонстрирован совершенно другой тип поэзии, стихи Льва Рубинштейна, также автора ТРМ. Его произведения представляют собой чрезвычайно оригинальный в русской литературе тип художественного текста. Формально это проявляется в том, что каждый фрагмент текста записан на отдельной карточке, и время, затрачиваемое на переворачивание карточек, создает особого рода паузы, имеющие конструктивную художественную функцию. Текст, записанный на одну карточку, довлеет себе, становится услышанным на секунду как самостоятельный голос некоего отдельного мира, а все стихотворение-карточка представляет со-

бой систему перекликающихся, независимых, противоречащих друг другу человеческих голосов, жнзней, поступков. Я приведу несколько таких фрагментов (см. ТРМ, вып 4/5; текст называется «Появление героя»; следует помнить, что в реальном исполнении каждая строка расположена на отдельной карточке-пространстве):

- Ну что я вам могу сказать?
- Он что-то знает, но молчит.
- Не знаю, может ты и прав.
- Он и полезней, и вкусней.
- У первого вагона в семь.
- Там дальше про ученика.
- Пойдемте. Я как раз туда.
- Ну что, решили что-нибудь?
- Сел — и до самого конца.



Афиша вечера журнала «Третья модернизация»

- Послушай, что я написал.
- А можно прямо через двор.
- Он вам не очень надоел?

Поэзия Льва Рубинштейна представляется чрезвычайно органичной для культуры 70—80-х годов XX века, когда активно разрабатываются такие дисциплины, как лингвистика устной речи, впервые показавшая, что разговорная речь представляет собой систему, подчиняющуюся своим собственным законам; теория речевых актов, философски ориентированная концепция, рассматривающая высказывания как особого рода действия; семантика возможных миров, в центре которой перекрещиваются множества речевых потоков. Кроме того, стихи Рубинштейна по своему строению во многом аналогичны такому мощному музыкальному направлению в XX веке, как серийная музыка, особенно в том ее варианте, который был предложен Антоном Веберном, опусы которого почти на треть состоят из пауз, играющих в них важную конструктивную роль.

Неофициальная периодика продолжает играть большую роль в современном литературном процессе, минуя цензуру трех родов: политическую, эстетическую и нравственную.

Неофициальная литература является непрофессиональной — авторы действуют из чистого энтузиазма, не получая за свои произведения гонораров. Они рассчитывают прежде всего на узкий круг духовно близких людей. Отсюда стилистика и поэтика, характерная прежде всего для домашней литературы. Естественно, к этой литературе надо подходить с другими мерками. Многие стихи Пушкина, писанные для дамских альбомов, проигрывают в профессионализме, но зато выигрывают в раскованности.

Журнал есть журнал. И наряду с шедеврами он публикует и произведения среднего качества.

К сожалению, проза, опубликованная в ТРМ, не производит особенно благоприятного впечатления. Здесь опубликованы произведения Виктора Ерофеева, Юрия Романова, Дмитрия Пригова, Александра Сержанта. По моему мнению, кризис прозы имеет место во всей, условно говоря, послеборхесовской литературе. И хотя в СССР есть интересные прозаики — Аркадий

Бартов, Борис Дышленко (их произведения публиковались в 5-м и 6-м номерах «Родника» за 1988 год), Валерия Нарбикова (см. «Юность», 1988, № 9), Геннадий Кацов, Михаил Берг, но, пожалуй, если судить строго, то послевоенная русская литература по-настоящему обогатила культуру только «Школой для дураков» Саши Соколова, произведением, пока опубликованным в СССР лишь частично.

Литературная критика представлена в ТРМ-7 только одной статьей известного киноведа М. Ямпольского, которая представляет собой весьма сильно написанную, но несколько загадочную рецензию на книгу (стихов?) Т. Щербины «Натюрморт». Статья посвящена вопросам, связанным с кабалистическим пониманием поэтики абракадабры, но поскольку никаких контекстов рецензируемого материала здесь не приведено, то и судить об объективности оценок трудно.

Та часть материалов ТРМ-7, которая посвящена вопросам культуры и политики (назвать ее публицистикой как-то не поворачивается язык — это понятие уж слишком связано с официальной советской прессой), чрезвычайно информативна и интересна.

Недавно у нас стали говорить, что самиздат устарел и вымирает. Ничего подобного. Пока Солженицын запрещен, что, по-моему, сводит все разговоры о демократии к уровню 1986 года, когда ни один серьезный человек не относился к перестройке серьезно, так вот, до тех пор, пока запрещен Солженицын и вообще пока демократия будет сводиться к либеральным жестам, до тех пор самиздат остается необходимым.\* Вообще, надо сказать, что «новомирский эпизод» с запретом Солженицына очень сильно оттолкнул интеллигенцию от правительства. Мы опять погружаемся во вранье и «оружеловщину», то есть говорим одно, а де-

\* По сведениям Главного управления по охране государственных тайн в печати при Совете Министров ЛССР произведения Баумволь Р. Л., Белинкова А. В., Влэстару В. М. (Векслера Б. М.), Галича А. А. [Гинзбург], Гладиллина А. Т., Демидова М. (Трифонов Г. Е.), Керлера И. Б., Колытман М. Р., Кроткова Ю., Кузнецова А. В., Львова А. Л., Максимова В. Е., Мальтинского Х. И., Некрасова В. П., Руденко Н. Д., Синявского А. Д., Солженицына А. И., Табачника Г. Д., Телесина З. Л., Эткинда Е. Г., изданные в СССР, возвращены в общие фонды библиотек. [Ред.]

лаем противоположное. По известной формуле салтыковского либерала: вначале «по возможности», потом «хоть что-нибудь» и наконец — «применительно к подлости».

В своей беседе с корреспондентом английского радио Солженицын на традиционный вопрос о возможности его возвращения в СССР ответил, что он не может вернуться раньше своих книг.

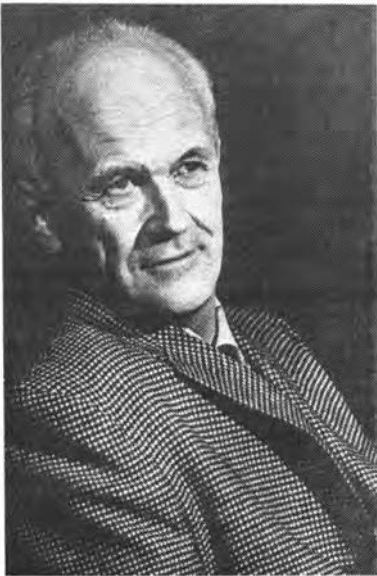
И еще одна принципиальная, хотя и частная проблема, исходя из решения которой самиздат продолжает оставаться необходимым явлением в культуре. Это так называемая «ненормативная лексика», которая всегда играла большую роль в фольклоре и литературе. Вспомним изданный в серии «Литературные памятники» сборник Кириши Данилова. Порой в нем на странице многоточий больше, чем слов.

Недавно Б. А. Успенский заметил, что запрет на матерную лексику равносителен запрету на слова, а не на понятия и поэтому представляется совершенно бессмысленным. Это верно лишь отчасти. Установка на запрет ненормативной лексики, по моему мнению, соответствует общей стерилизаторской пуританской установке в советском, скажем так, культурном строительстве. Советскому человеку, активному строителю коммунизма, не свойственно дурно выражать свои мысли, вообще говорить и думать о всяких глупостях, равно как слышать антисоветские речи или отправлять устаревшие религиозные культы. Советскому народу, как известно, достаточно безмерной любви к своей родной партии (так называемая сексология по-советски).

Запрет на непристойные темы в целом характерен для христианской культуры, так как они считаются изначально

связанными с грехом, и в первую очередь с Первородным Грехом, равно как и с дьяволом и преисподней. Тема продолжения рода и любви и связанные с этой темой непристойные сюжеты и слова должны быть оттеснены темой духовности и безграничной любви к Богу. Однако в христианской культуре непристойное разрешалось и, более того, поощрялось в рамках карнавала, той социальной отдушины, за счет которой компенсировалась редукция телесного начала в культуре ортодоксальной. М. М. Бахтин в книге «Франсуа Рабле и народная смеховая культура средневековья и Ренессанса» дал убедительную интерпретацию непристойных выражений как окрашенных амбивалентно. С одной стороны, ругань, связанная с образами материально-телесного низа, направлена вниз, к смерти, разрушению, но, с другой стороны, и вверх, к возрождению, ибо здесь участвуют прежде всего атрибуты плодородия. Таким образом, выражение «Иди ты...» мифологически отсылает адресата не только в преисподнюю, но и в плодоносное чрево, то есть ему желают не только смерти, но и возрождения, очищения. Сходную роль играют упомянутые выражения в литературе. Кстати сказать, во всех западных художественных журналах давно перестали употреблять эти ханжеские многоточия.

Чрезвычайно важную функцию развенчивающего оплодотворения и выполняет в СССР самиздат, который, как и вся неофициальная культура в целом, будет жив до тех пор, пока будут живы хотя бы малейшие проявления тоталитаризма.



Е. Е. Климов

## К НАШИМ ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

С художником Евгением Климовым, бывшим рижанином, ныне живущим в Канаде, читатели нашего журнала знакомы как с мемуаристом («Даугава», 1988, № 8). Ныне мы печатаем ряд его графических работ — портреты деятелей русской культуры. Некоторых из них художник встречал в предвоенной Риге — композитора Николая Карловича Метнера (1879—1950), философа Ивана Александровича Ильина (1882—1954). О пребывании в Риге писателя Ивана Сергеевича Шмелева (1875—1950) и о его жизни на даче у Климовых в 1936 году надеемся подробнее рассказать в последующих номерах.

Директора Русского культурно-исторического музея в Праге Николая Васильевича Зарецкого (1876—1959) Алексей Ремизов представлял так: «... художник, археолог, библиограф, коллекционер, выдумщик и «предприниматель», то есть пропагандист и агитатор, да еще в прошлом и гусар...». Художник в свою очередь с глубоким уважением относился к Ремизову, и когда молодой Владимир Набоков опубликовал безжалостную рецензию на одну из книжек Ремизова, Зарецкий ответил докладом, в котором сравнил Ремизова с Пушкиным, а рецензента — с Булгарным. Набоков тоже вспылал, и дело едва не окончилось дуэлью.

Петра Николаевича Савицкого (1894—1968), одного из вождей евразийского движения, Климов рисовал в Праге в 1945 году. Евразийцы (к которым принадлежал и искусствовед П. П. Сувчинский, историки Г. В. Вернадский и Г. В. Флоровский, лингвист князь Н. С. Трубецкой, критик князь Д. П. Святополк-Мирский и другие) стремились создать глобальную концепцию пореволюционного развития России, исходя из ее особого промежуточного, «евразийского» положения и вытекающих из этого геополитических свойств. П. Н. Савицкий писал: «Не уходит ли к Востоку богиня Культуры, чья палатка столько веков была раскинута среди долин и холмов Европейского Запада?» В 1927 году Савицкий совершил тайную поездку в Россию. Когда советские войска вошли в Прагу в 1945 году, он был отправлен в исправительно-трудовой лагерь. Савицкий писал стихи (под псевдонимом «Петр Востоков»).

О поэте Иване Елагине (Иване Венедиктовиче Матвееве; 1918—1987) подробно рассказал недавно Е. Витковский («Новый мир», 1988, № 12). Впоследствии судьба свела Климова с оказавшимся в Америке критиком Аркадием Викторовичем Белниковым (1921—1970), чьи работы в последнее

время стали снова перепечатываться в СССР (например, книга о Юрии Тынянове), с Александром Исаевичем Солженицыным и поэтом Наумом Коржавиным. О последнем много писала в этом году советская печать. Мы же только процитируем здесь его стихо-

творение 1962 года «Братское кладбище в Риге», которое, по свидетельству Лидии Чуковской, ценила Ахматова («становится настоящим поэтом», — сказала она, прочитав стихотворение вслух):

Белых стен и цементных могил панорама.  
Матьер-Латвия встала, одетая в мрамор.  
Перед нею рядами могильные плиты,  
А под этими плитами — те, кто убиты.  
Под знаменами разными, в разные годы,  
Но всегда за нее и всегда за свободу.  
И лежит под плитой русской службы полковник,  
Что в шестнадцатом пал без терзаний духовных.  
Здесь, под Ригой, где пляжи, где крыши косые,  
До сих пор он уверен, что это — Россия.

А вокруг все другое — покой и Европа,  
Принимает парад генерал Лимитрофа.  
А пред ним на безмолвном и вечном параде  
Спят солдаты, отчизны погибшие ради.  
Независимость — вот основная забота.  
День свободы — свободы от нашего взлета,  
От сиротского лиха, от горькой стихии,  
От латышских стрелков, чьи могилы в России,  
Что погибли вот так же за ту же свободу  
От различных врагов и в различные годы.  
Ах, глубинные токи, линейные меры,  
Невозвратные сроки и жесткие веры!

Здесь лежат, представляя различные страны,  
Рядом — павший за немцев и два партизана.  
Чтим вторых. Кто-то первого чтит, как героя,  
Чтит за то, что он встал на защиту покоя,  
Чтит за то, что он мстил — слепо мстил и сурово  
В сорок первом за акции сорокового.  
Все он спутал. Но время все спутало тоже.  
Были разные правды, как плиты похожи.  
Не такие, как он, не смогли разобраться.  
Он погиб. Он уместен на кладбище Братском.  
Тут не смерть. Только жизнь, хоть и кладбище это . . .  
Столько лет длится спор и конца ему нету.  
Возражают отчаянно павшие павшим  
По вопросам, давно остроту потерявшим.  
К возраженьям добавить спешат возраженья.  
Не умеют, как мы, обойтись без решенья.

Тишина. Спят в рядах разных армий солдаты.  
Спорят плиты, где выбиты званья и даты.  
Спорят мнение с мнением в каменной книге.  
Сгусток времени — Братское кладбище в Риге.  
Век двадцатый. Всех правд острия ножевые.  
Точки зренья, как точки в бою огневые.

### КОММЕНТАРИЙ К КОММЕНТАРИУ

(В. П. Рудневу)

Дорогой Вадим!

С большим интересом я прочел в 1-м номере «Даугавы» за 1989 г. статью Дз. Хирши «Латышский язык в Латвии» и Ваш комментарий к ней. Статья кажется мне убедительной. Не согласен я только с тем, что латышский язык древнее русского — для такого утверждения оснований столь же мало, сколь и для противоположного. — и с тем, что «латышский язык» и народ попали на своей земле в такую катастрофическую ситуацию, в какой не находится ни один другой народ Советского Союза (кроме еще Эстонии)» Ситуация действительно катастрофическая, но в СССР есть народы, не имеющие на своей земле даже начальных школ с обучением на родном языке. Кроме того, Дз. Хирша преувеличивает значение диссертаций. Защита диссертации — второстепенный, чисто формальный момент в научной работе. Процедура защиты сейчас усложнена до такого абсурда, что бессмысленно пытаться ее улучшить. А при простой и разумной процедуре вопросы, касающиеся формы, в том числе вопрос о языке диссертации, должны решаться вузом или научным учреждением самостоятельно.

Ваш комментарий вызывает больше возражений. Прежде всего Вы ставите под сомнение приводимые в статье результаты психологических исследований, говорящие об отрицательных последствиях билингвизма. При этом Вы оперируете общими соображениями об относительности понятий «положительное» и «отрицательное» и о том, что при разных «социально-психологических характеристиках» — например, при разных темпераментах — последствия могут быть разные. Но те и другие соображения в данном случае нерелевантны: первые потому, что в статье идет речь о конкретных последствиях, отрицательный характер которых трудно оспаривать (задержка развития и т. п.), вторые потому, что в обследуемые группы входят люди с разными характеристиками, а результаты берутся средние. Предположение, что результат может существенно зависеть от конкретного сочетания языков, стоило бы, конечно, проверить, но оно представляется мне маловероятным: психологические механизмы, связанные с усвоением языка, не так уж сильно зависят от конкретной структуры. (Для данной цели, конечно, следовало бы провести исследования на материале латышско-русского двуязычия.) Я не собираюсь утверждать, что работы, упоминаемые автором (с которым я незнаком), заслуживают абсолютного доверия, но «фальсифицировать» (по терминологии К. Поппера) результаты экспериментального исследования можно только путем выявления ненадежности используемой методики или привлечения других, противоречащих им экспериментальных данных.

Далее, трудно согласиться с утверждением, что у билингва меньше шансов стать националистом. На той стадии двуязычия, когда утрачивается культура родного языка и статус его заметно понижается, возникает ощущение ущербности, которое может привести к самому крайнему национализму. Подтверждение этому — не прекращающиеся в течение десятилетий террористические акты в Южном Тироле и недавняя вспышка национальной ненависти в Алма-Ате.



Что касается философско-семиотических концепций «бинаризма» и «стереоскопичности», то здесь не место обсуждать их по существу, но к билингвизму они отношения не имеют. Описание одного предмета с помощью двух языков может дать заметный выигрыш лишь тогда, когда это языки, пользующиеся существенно различными средствами, — например, словесный и графический языки в технических науках или, на другом уровне, языки двух разных наук, — а не два естественных языка. Одновременное функционирование двух естественных языков в качестве «бытового» и «культурного» — это совсем другое явление: здесь разные языки используются не для описания одного и того же предмета разными способами, а для описания разных предметов. Такое двуязычие с разделением функций всегда вынужденное, оно возникает из-за неразвитости «народного» языка и по мере его развития постепенно исчезает. Так отмерла культурная функция латыни в Европе, церковнославянского и французского в России. В латышском же языке в последние десятилетия развитие «культурной» и терминологической лексики искусственно сдерживалось, а в ряде случаев, видимо, даже происходило вынужденное отмирание уже сложившихся ее пластов. Вы совершенно правы, когда говорите, что крайне опасно вмешиваться в языковую среду. Но ведь нынешнее критическое состояние латышского языка возникло именно в результате грубого насильственного вторжения в языковую среду и в ход естественного развития. Юридические меры защиты в таких случаях не только оправданы, но и совершенно необходимы, как всегда, когда нужно защитить более слабого. Та же Франция вынуждена сейчас принимать юридические меры для защиты французского языка от более сильного английского. Тем более имеет право и обязана делать это маленькая и подвергающаяся мощному ассимиляторскому давлению Латвия. Я, как и Вы, за диалог культур, но нужно понять, что настоящий диалог между русской и латышской культурой будет возможен лишь тогда, когда латышский язык и латышская культура будут иметь в Латвии такие же права и возможности, какие русский язык и русская культура имеют в России.

Всего Вам доброго.

Ваш А. ГЛАДКИЙ

Москва, 24 января 1989 года

---

Авторы снимков в тексте: Харрис Бурмейстарс, Айварс Лиелиньш, Серген Годоров, Гунарс Яяйтис

---

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию-изготовитель, указанную в выходных сведениях журнала.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные, республиканские и областные отделения «Союзпечати». В редакцию с просьбами выслать тот или иной номер журнала просим не обращаться, т. к. не имеем никакого запаса номеров.

---

Сдано в набор 02.03.89.

Подписано к печати 30.03.89. ЯТ 00115.

Формат 60X90/16. Типогр. бумага № 1,

мелованная бумага. Офсетная печать.

Обложка и вклейки — высокая печать.

8,0+0,50+0,25 усл.-печ. л., 15,75 усл. кр.-отт.,

10,75 уч.-изд. л. Тираж 80 000.

Заказ № 426. Цена 45 коп.

Адрес редакции: 226081, Рига, ГСП,

Баласта дамбис, 3.

Телефоны: гл. редактор 466049,

зам. гл. редактора 465913,

отв. секретарь 465996.

отд. прозы 465992,

отд. поэзии 465998,

отд. критики и публицистики 465990,

техн. секретарь 465993.

Отпечатано в тип. Издательства ЦК КП Латвии,  
226081, Рига, Баласта дамбис, 3.

Технический редактор  
Мудите АРАЯ.

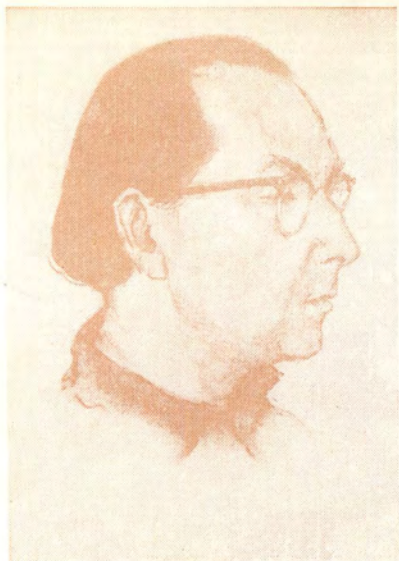
Корректор  
Любовь СОКОЛОВСКАЯ.

## РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ В ПОРТРЕТАХ Е. Е. КЛИМОВА

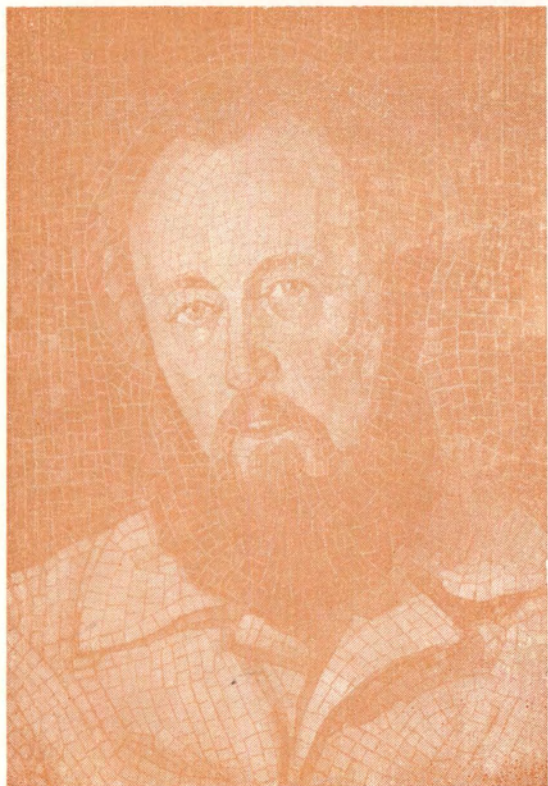
(см. материал на с. 125)



Наум Коржавин  
Иван Елагин  
Иван Шмелев



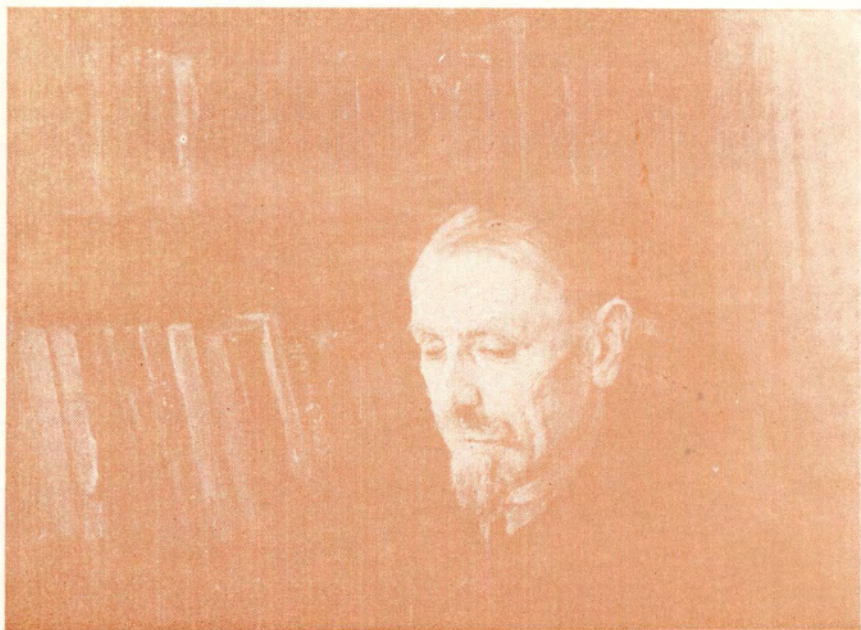
**Аркадий Белинков**

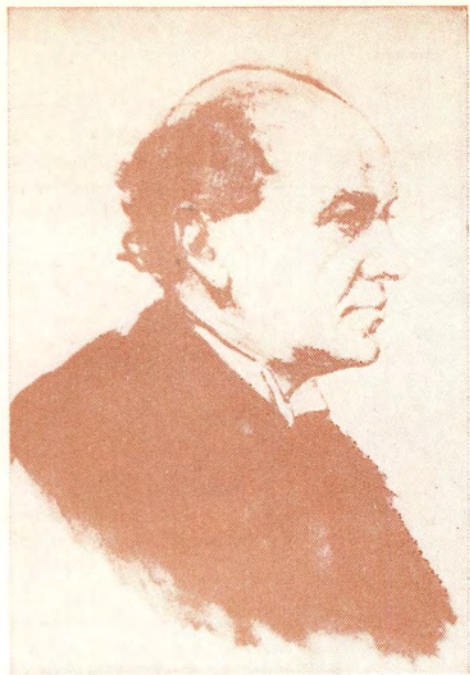


**Александр  
Солженицын.  
Эскиз  
мозаики**



Иван Ильин  
Петр Савицкий





Николай Метнер



Николай Зарецкий

45 коп.

Индекс 77123